



Вильнюсский педагогический университет
Московский городской педагогический университет

РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

Сборник научных статей

Выпуск IV

*Vilniaus
pedagoginiu
universiteto
leidykla*

Вильнюс–Москва, 2009

УДК 808.2
Р87

Обсуждено и рекомендовано к печати на заседании совета филологического факультета Вильнюсского педагогического университета 3 декабря 2009 г. (протокол № 8).

Редакционный совет

Ответственный редактор – Е. Ф. Киров (Москва)
Составители – Е. И. Белова (Вильнюс), Д. Сабромене (Вильнюс)

Члены совета – В. Гудонене (Вильнюс), С. А. Джанумов (Москва),
В. А. Коханова (Москва), Г. Кундротас (Вильнюс), Н. М. Малыгина
(Москва), М. В. Романенкова (Вильнюс), Д. Сабромене (Вильнюс)

Рецензенты

Валюolis С. А. – доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской литературы и межкультурной коммуникации филологического факультета Вильнюсского педагогического университета

Власова С. В. – доктор гуманитарных наук, лектор кафедры русской филологии и дидактики филологического факультета Вильнюсского педагогического университета

© Вильнюсский педагогический университет, 2009
© Московский городской педагогический университет, 2009

ISBN 978-9955-20-483-1

TURINYS

Фольклор / Folklore

Юрий Новиков

Инициальные частицы и мини-формулы в былинах.....	6
Initial Elements and Mini-formulas in Rus- sian Bylinas	

Гендрис Петкевич

Фольклор старообрядцев Литвы: вза- имодействие и взаимообогащение культур	16
Folklore of the Old-believers' in Lithuania: Interaction and Mutual Enrichment of Cultures	

Литературоведение / Literary Criticism

Елена Белова

Тимур Кибиров: в диалоге с традицией	26
Timur Kibirov: in the Dialogue with the Tradition	

Сейран Джанумов

Москва в творческом сознании А. С. Пуш- кина	37
Moscow in the Creative Thought of A. S. Push- kin	

Ирина Куликова

Локус могилы / гробницы в русской сен- тиментальной повести.....	46
Locus of Grave / Tomb in Russian Sentimen- tal Narrative	

Галина Михайлова

Шекспировский тезаурус Анны Ахмато- вой: «Читая “Гамлета”».....	61
A. Akhmatova's Shakespeare Thesaurus: “Reading Hamlet”	

Литературоведение и компаративистика / Literary Criticism & Comparative Studies

Вида Гудонене

- Проблема авторства «муравьевской оды»
«Бокал заздравный поднимая».... и ее
рецепция в Литве 79
The Problem of the Authorship of the Ode
to M. Muravjov “Бокал заздравный под-
нимая...” and its Perception in Lithuania

Федор Федоров

- Швейцарские томления поздней ледни-
ковой эпохи 88
Swiss Nostalgias of the Late Ice Age

Языкоизнание / Linguistics

Наталья Авина

- Речевая коммуникация при взаимо-
действии близкородственных языков:
лингвистический аспект 99
Speech Communication upon Contracting
of Sister Languages: The Linguistic Aspect

Ирина Баданина, Линас Сельмистрайтис

- О некоторых внешних заимствованиях в
литовском и русском языках 110
On Some Borrowings in the Lithuanian and
Russian Languages

Изольда Генене

- Некоторые наблюдения над литовским и
русским сленгом 120
Some Observations on the Contemporary
Lithuanian and Russian Slang

Юозас Юркенас	Ономастика как фрагмент лингвистической палеонтологии	129
	Onomastics as a Fragment of Linguistic Palaentology	
Гинтаутас Кундротас	Функциональные возможности интонационных единиц русского языка в сопоставлении с литовским	141
	Comparative Analysis of Functional Potential of Russian and Lithuanian Intonation Units	
Владимир Курдюмов	«Китайские» реалии в языках другой типологии	152
	“Chinese”Realities in other Types of Languages	
Кшиштоф Кусаль	Субстандартная фразеология как источник русско-польской межъязыковой омонимии.....	159
	Substandard Phraseology as a Source of Interlingual Russian-Polish Homonymy	
Ирина Труфанова	Структура эстетического знака.....	167
	The Nature of the Aesthetical Sign	
Анна Жаркова	Церковно-религиозный стиль современного русского литературного языка и его функционирование в Литве	178
	The Orthodox Religious Style of Modern Russian Literary Language and its Functioning in Lithuania	

ФОЛЬКЛОР / FOLKLORE

Юрий Новиков

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
kerbnov1@gmail.com

Инициальные частицы и мини-формулы в былинах

За последние десятилетия благодаря исследованиям П. Д. Ухова (Ухов, 1970), Б. Н. Путилова (Путилов, 1966), К. В. Чистова (Чистов, 2005) и других эпосоведов значительно продвинулось вперед изучение структуры фольклорного стиха (прежде всего былинного), законов его формирования и варьирования, способов соединения соседних строк в тирады – целостные художественно-смысловые комплексы. При этом основное внимание уделяется окончаниям стихов, поскольку именно здесь, по мнению Б. Н. Путилова, концентрируются определяющие, узловые структурные элементы (Путилов, 1966, 233). Роль инициальных частиц, словосочетаний и мини-формул не столь очевидна, но на наш взгляд, их анализ также может быть достаточно плодотворным.

Наиболее заметны в былинах анафоры. Это могут быть буквальные повторения начальных слов:

*На небе солнце, – и в тереме солнце,
На небе месяц, – и в тереме месяц,
На небе звезды, – и в тереме звезды,
На небе зори, – и в тереме зори*

(Рыбников, 1910, № 168 – Колодозерский старик).

Иногда единоначатия сменяют друг друга; каждое из них скрепляет по 3-4 соседних стиха, образуя своеобразную цепочку семантических мини-блоков:

*Я не могу со князём думы думати,
Я не могу со князём мысли мыслети –
Потому у меня нету платяя цветного,
Потому у меня ведь нет ноньче добра коня,
Потому у меня нет сбруи лошадиное,
У меня нет всей сбруи богатырьское –*

У мне нет ноньчи сабельки-то востре,
 У мне нету копейца-та булатного,
 У мне нету ведь палици боёвое,
 У мне нет ноньче лука-та ведь крепкого
 Со тема ёго с тетивками шелковыма,
 Со тема же со стрелками калёныма:
 У меня пропита чумаку всё, чоловальнику,
 У меня всё где со всем в тридцети тысячах!

(Свод, 2004, т.4, № 180 – И. А. и А. А. Чуповы).

Гораздо чаще сказители практиковали более сложные модели построения тирад, изменяя форму начального слова, используя синтаксический параллелизм или семантически связанные друг с другом лексемы:

Скоро он снарежается,
 Скоря тово пое~~с~~ду^зку чинят
 (Кирша Данилов, 1977, № 18).

Тоби полно-тко свистать да по соловьему,
 Тоби полно-тко крычать да по звериному,
 Тоби полно-тко слезить да отцей-матерей,
 Тоби полно-тко вдовить да жон молодых,
 Тоби полно-тко спущать да сиротать да жалых детушок
 (Гильфердинг, 1950, т. 2, № 74 – Т. Рябинин).

А день-то ведь за день, как дожжи дожжат,
 А неделька по недельке, как ручьи бежат,
 А год-то за год, как трава росла
 (Соколов-Чичеров, 1948, № 82 – Ф. Конашков).

Кривой ездой ехать ровно три годы,
 Прямой ездой ехать нынъ три месяца
 (Свод, 2001, т. 2, № 244 – П. Марков).

Группу соседних стихов надежно скрепляют повторяющиеся местоимения (чаще всего он или я) в сочетании с различными глаголами. Так, в одной из былин печорского сказителя П. Поздеева 5 строк подряд начинаются с местоимения он:

Он-де взял его, Добрыню, себе прислугую,
 Он кабы три года же у князя жил он в конюхах,
 Он-де три года же жил он в приворотниках,
 Он бы три года у князя жил во стольниках,
 Он три года жил у князя в писарях
 (Свод, 2001, т. 1, № 23).

А у его земляка Е. Рочева в 7 стихах подряд дублируется инициальное местоимение я (Свод, 2001, т. 1, № 24; стихи 64-70). Особую динамичность эпическому повествованию придают тирады, все строки которых начинаются с глаголов; их количество порой достигает 10-15 и даже 24 (Свод, 2001, т. 1, № 18; стихи 201-224 – В. Тайбарейский).

Иногда финальные формулы смыкаются с инициальными (так называемый подхват – повторение конца предыдущего стиха в начале следующего):

Становилась эта сила близко Киева,
 Близко Киева стоит да во чистом поли
 (Гильфердинг, 1949, т. 1, № 57 – И. Фепонов).

На молодце шуба соболиная,
 Того ли соболя заморского,
 Заморского соболя ушистого,
 Ушистого соболя, пущистого
 (Рыбников, 1910, т. 2, № 144 – Т. Романов).

Формульной цельности былинных стихов способствует внутренняя рифма, когда первое слово в строке рифмуется с последним:

А и во ожканьи не слышино бухканье,
 А во бухканьи не слышино ожканья
 (Гильфердинг, 1951, т. 3, № 215 – В. Суханов).

А то было на делу дешево – женский пол:
 Старушечки были по полушечки,
 А молодушечки были по две полушечки
 (Рыбников, 1909, т. 1, № 91 – К. Романов).

Первое значимое слово может стать ключевым и при использовании однокорневых лексем:

А не темныя ли темени затемнели,
(Гильфердинг, 1949, т. 1, № 59 – И. Фепонов).

Архаическое словосочетание *Гой еси...* и его более поздний аналог *Ай же ты...* маркируют начало развернутого монолога или вопроса:

Гой еси, удалый добрый молодец!
(Кирша Данилов, 1977, № 22).

Ай же ты, Добрынюшка Микитинец!
(Гильфердинг, 1949, т. 1, № 38 – А. Тимофеев).

А строки, начинающиеся с местоимений или вопросительных наречий и не являющиеся прямой речью былинных персонажей, обычно предваряют развернутый ответ все в той же «системе авторской речи сказителя»:

*А и конь под ним в пять тысячей.
Почему коню цена пять тысячей?
За реку он бродя не спрашивает,
Которая река цела верста пятисотная,
Он скакет с берега на берег –
Потому цена коню пять тысячей*
(Кирша Данилов, 1977, № 3).

Инициальное наречие *втапоры* («в ту пору», «в это время», «тогда») также обозначает начало нового смыслового сегмента текста. Встречается оно довольно редко – в большинстве былин Кирши Данилова (Кирша Данилов, 1977, №№ 1, 3, 6 и др.), в старинах печорского сказителя П. Маркова (Свод, 2001, т. 1, №№ 115, 199 и др.) и в исторической песне пинежанина А. Вехорева (Астахова, 1951, № 213). Другие эпические певцы использовали более современные словосочетания *Как во ту пору, в то время...;* *Тут стал...;* *Уж как тут...;* *Как идёт...;* *И тогда... и т.п.*

Позитивные результаты дает анализ статистических данных. Набор инициальных частиц в русских былинах сравнительно невелик, региональные различия в их функционировании практи-

тически не просматриваются. У большинства сказителей насыщенность записанных с пения вариантов составляет не менее 35-40 процентов всех стихов. Но в их выборе и частотности употребления сказываются особенности исполнительской манеры, личные вкусы и пристрастия эпических певцов. Сошлемся на конкретные примеры.

Варианты «Добрыни и Алеши», записанные от В. Суханова, П. Воинова, Н. Швецова и И. Сивцева-Поромского, принадлежат к оригинальной кенозерско-мошинской редакции сюжета, чрезвычайно близки по содержанию и художественному оформлению и, вполне возможно, восходят к одному первоисточнику. Первые три сказителя использовали разные типы инициальных частиц и прибегали к ним довольно редко (Гильфердинг, 1951, т. 3, №№ 215, 228, 306), а у Сивцева-Поромского едва ли не каждый стих начинается одной и той же частицей *Да...* (Гильфердинг, 1951, т. 3, № 222). Эта же частица доминирует в большинстве былин Ф. Чуркиной с Печоры, а ее земляки А. Вокуев, Н. Шальков, И. Дуркин отдавали предпочтение частицам *Как...* и *Кабы...*. В традиционных старинах пудожанина Ф. Конашкова от 90 до 100 процентов стихов начинается с частицы *А...* (иногда *Ай...*) (Соколов-Чичеров, 1948, №№ 76-91). А вот в распетом на былинный лад отрывке из лубочной сказки о Еруслане Лазаревиче (Соколов-Чичеров, 1948, № 92) этот показатель не достигает и 25 процентов, причем частица *А...* не встречается ни разу. В текстах Г. Якушова, приятеля Конашкова, с которым они неоднократно состязались, поочередно исполняя перед земляками одни и те же произведения, столь жесткой ориентации на одну частицу не прослеживается. В одних текстах преобладает частица *А...*, в других – *Как...*; нередко эти былины записывались в один день. В «Наезде литовцев» сначала доминирует частица *А...* (частотность ее употребления превышает 86 процентов), а с 44-го стиха по 133-й – частица *Как...* (частотность уменьшается вдвое) (Соколов-Чичеров, 1948, № 17).

У некоторых сказителей из разных регионов прослеживается тенденция целую группу соседних стихов начинать с одной частицы или мини-формулы, а затем переключаться на вторую, третью и даже четвертую. Так, в былине куляянина И. Сычкова «Василий Игнатьевич и Батыга» (Григорьев, 2003, т. 2, № 270) стихи 131-134 открывает словосочетание *Да скоре того...*; стихи 136-140 – *Уж вы...*; 160-162 – *Он ведь...*; 204-206 – *Инши...*; 207-212 – *Да...*

Результаты статистического анализа употребления инициальных частиц и мини-формул могут служить одним из инструментов для выявления вариантов, записанных не с пения, а под диктовку исполнителя. Известный собиратель А. Ф. Гильфердинг первым обратил внимание на то, что в таких текстах резко сокращается количество незначимых слов. «Напев поддерживал стихотворный размер, который при передаче сказителем былины словами тотчас исчезал от пропуска вставочных частиц и слияния двух стихов в один» (Гильфердинг, 1949, т. 1, 65). Это касается междометий, постпозитивных частиц, повторяющихся предлогов, местоимений, а иногда и постоянных эпитетов. Но в первую очередь сказанное Гильфердингом справедливо по отношению к инициальным частицам и мини-формулам. В этом лишний раз убеждают опубликованные в печорских томах Свода русского фольклора разнотечения в пропетых и сказанных вариантах, которые исполнили П. Дитятева, П. Дуркин, Т. Торопова и А. Овчинникова (Свод, 2001, т. 1, №№ 42, 120, 121, 156, 157, 171, 187, 191). Как подчеркнуто в текстологических комментариях, во всех случаях «при пении вставлялись частицы, местоимения, союзы» (Свод, 2001, т. 1, 754). В былине мезенского певца М. Антонова «Василий Буслаев» в пропетой части (462 стиха) инициальных частиц почти в два с половиной раза больше, нежели в предварительной записи со сказа (Свод, 2004, т. 4, №№ 188 и 189; комментарии на стр. 686-687).

Учитывая эту закономерность, при наличии повторных записей можно хотя бы в первом приближении определить, какие из них фиксировались не с пения. В сборнике П.Н. Рыбникова по насыщенности инициальными частицами некоторые тексты кижан почти не уступают записям А. Ф. Гильфердинга («Вольга и Микула» Т. Рябинина, «Дунай» и «Сорок калик» К. Романова, «Василий Буслаев» Т. Иевлева, «Илья Муромец и Идолище» Н. Дутикова, «Дунай» А. Сарафанова). Но гораздо чаще разница явно превосходит порог случайных колебаний, что можно квалифицировать как косвенный признак фиксации былин первым собирателем не с пения, а под диктовку сказителей. Так, в повторных записях Гильфердинга количество инициальных частиц на сто стихов возросло в полтора-два раза в старинах К. Романова «Волх» и «Илья Муромец и Калин-царь», в «Илье Муромце и Соловье-разбойнике» А. Сарафанова, в «Василии Игнатьевиче и Батыге» С. Корнилова, в «Садко» Н. Дутикова, в «Вольге и Микуле» Т. Рябинина. А былины «Чурила и Катерина» А. Сарафанова,

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Королевичи из Крякова», «Илья Муромец и дочь его» Т. Рябинина по насыщенности инициальными частицами превосходят первоначальные варианты в 4,4 – 6 раз. Напрашивается естественное предположение, что, по крайней мере, последняя группа произведений записана Рыбниковым под диктовку исполнителей. Такая же картина наблюдается в большинстве былин, записанных на Кулое О. Э. Озаровской от певцов, с которыми ранее работал А. Д. Григорьев. Здесь более точными, аутентичными являются первые по времени фиксации тексты. Видимо, не с пения в 1937-1938 гг. записаны былины пудожанина Ф. Конашкова. В них крайне низок удельный вес инициальных частиц, в то время как в 1928 г., как уже отмечалось выше, сказитель использовал их почти в каждом былинном стихе.

Выявление текстов, записанных под диктовку, представляет не только сугубо академический интерес, характеризуя методику собирательской работы. Подобные варианты нецелесообразно использовать при изучении структуры и метрического строя эпического стиха, звукописи, особенностей исполнительской манеры сказителей и других исследованиях, требующих особой «чистоты материала».

Нестандартные, не имеющие аналогов в других вариантах былин начальные словосочетания порой позволяют выявить фальсифицированные или серьезно отредактированные тексты эпических песен. К их числу относится былина «С каких пор перевелись витязи на святой Руси», записанная в Сибири Л. А. Меем (Киреевский, 1862, вып. 4, с. 108).¹ Ее аутентичность еще в середине XIX века вызвала обоснованные сомнения такого опытного собирателя, как П. Н. Рыбников. «Бросьте явно поддельную или по крайней мере дурно переданную и поправленную Меевскую редакцию о гибели богатырей», – писал он Оресту Миллеру (Рыбников, 1910, т. 3, 324). В тексте три основных эпизода разделены пробелами и начинаются одинаково:

*Было так, на восходе красного солнышка
Выставал Добрыня раныше всех...*

Далее речь идет об Алеепе Поповиче, а завершает этот своеобразный «трилогии» рассказ о пробуждении и действиях Ильи

¹ Подробнее см. об этом: (Новиков, 2001, сюжет 18, № 1-а).

Муромца. Ничего подобного нет ни в одной устной по происхождению былине; в таком четком членении текста на три примерно равновеликих фрагмента чувствуется «почерк» юного собирателя – будущего поэта.

В других случаях неумелые стилизации «под фольклор» выдают чуждые былинному лексикону речевые обороты:

В старину седую, стародавнюю...

Из похода далекого, тяжкого

Возвращался Дунай Иванович...

(Сидельников, 1968, №№ 34, 36).

В старину было в стародавнюю,

Когда княжил князь Владимир в Киеве...

(Черняева, 1981, № 7).

Анализ инициальных частиц и формул помогает внести дополнительную ясность в решение дискуссионного вопроса о происхождении Сборника Кирши Данилова. Некоторые исследователи-«скептики» до сих пор считают былины из уральского сборника вторичными, искусственно составленными из разных вариантов или отредактированными. Однако в последние десятилетия опубликовано немало работ, в которых они интерпретируются как довольно точные записи от одного исполнителя (Ухов, 1956; Путилов, 1966, 251-255; Горелов, 1974; Новиков, 2009, 135-241 и др.). В них прослеживается несомненное единство художественного стиля, совпадает набор постоянных эпитетов, топонимов, антропонимов, встречаются одни и те же архаизмы и историзмы. Приведенные в данной статье примеры использования начальных частиц и словосочетаний подтверждают традиционность старин Кирши Данилова, их принадлежность одному певцу.² В первой половине XVIII века, когда был составлен уральский сборник, самый изощренный редактор или «сводчик» не мог бы столь искусно имитировать естественное сказывание эпических песен, особенности индивидуальной исполнительской манеры, техники построения былинных стихов, соединения соседних строк в чеканные тирады. Для этого ему надо было бы на два с лишним столетия опередить развитие отечественного эпосоведения.

² Подробнее см.: (Новиков, 2009, 206-208).

Выводы

Инициальные частицы, отдельные слова и мини-формулы играют важную роль в структурировании былинных стихов, объединении соседних строк в семантические комплексы. В их употреблении не просматриваются сколь-нибудь заметные региональные черты. Однако у многих мастеров русского эпоса были свои излюбленные приемы построения стиха, их тексты различаются по набору и частотности применения инициальных элементов. Анализ этих особенностей позволяет выявить варианты ряда сказителей из Прионежья, с реки Кулоя и из других районов, которые были записаны не с пения, а под диктовку исполнителей. Статистические подсчеты помогают получить дополнительные аргументы, свидетельствующие о фальсификациях, стилизации и редактировании отдельных текстов, в частности, некоторых записей из Сибири. Все более или менее существенные закономерности употребления инициальных частиц и формул обнаруживаются в былинах из Сборника Кирши Данилова, что можно рассматривать как еще одно доказательство их традиционности и принадлежности одному певцу.

ЛИТЕРАТУРА (СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ)

- Астахова – Былины Севера / Записи, вступ. статья и comment. А. М. Астаховой. 1951. Т. 2. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Гильфердинг – Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 1949, 1950, 1951. Т. 1-3. – Москва; Ленинград: АН СССР.
- Горелов – Горелов А. А. Диффузия элементов устнopoэтической техники в Сборнике Кирши Данилова. 1974. – Ленинград, Наука: Русский фольклор. Т. 14, 166-201.
- Григорьев – Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. 2002, 2003. Т. 1-3. – Санкт-Петербург: Тропа Троянова.
- Киреевский – Песни, собранные П. В. Киреевским. 1862. Вып. 4. Москва, отпечатано в типографии А. Семена.
- Кирша Данилов – Древние российские стихотворения, собранные Киршию Даниловым / Подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. 1977. Москва: АН СССР.
- Новиков, 2001 – Новиков Ю. А. Былина и книга: Аналитический указатель зависимых от книги и фальсифицированных былинных текстов. 2001. Санкт-Петербург: Европейский Дом.

- Новиков, 2009 – Новиков Юрий. *Динамика эпического канона: Из текстологических наблюдений над былинами*. 2009. Вильнюс: изд-во Вильнюсского педагогического университета.
- Путилов – Путилов Б. Н. *Искусство былинного певца: Из текстологических наблюдений над былинами*. 1966. Москва; Ленинград: Наука: Принципы текстологического изучения фольклора, 220-259.
- Рыбников – Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 1909-1910. Т. 1-3. Москва, издание фирмы «Сотрудник школ».
- Свод, 2001 / 2003 / 2004 – *Былины: В 25 томах. (Свод русского фольклора)*. Т. 1-2: Былины Печоры; т. 3-5: Былины Мезени. – Санкт-Петербург; Москва: Наука, издательский центр «Классика».
- Сидельников – Сидельников В. *Былины Сибири*. 1968. Томск: изд-во Томского университета.
- Соколов-Чичеров – *Онежские былины / Подбор былин и научная редакция текстов Ю. М. Соколова; Подготовка текстов к печати, примечания и словарь В. Чичерова*. 1948. Москва: изд-во Государственного литературного музея.
- Ухов, 1956 – Ухов П. Д. *Из наблюдений над стилем сборника Кириши Данилова*. 1956. Москва; Ленинград: АН СССР. Русский фольклор: Материалы и исследования. Т. 1, 97-115.
- Ухов, 1970 – Ухов П. Д. *Атрибуции русских былин*. 1970. Москва: изд-во Московского университета.
- Черняева – *Русские эпические песни Карелии / Изд. подготовила Н. Г. Черняева*. 1981. Петрозаводск: Карелия.
- Чистов – Чистов К. В. *Фольклор. Текст. Традиция*. 2005. Москва: Объединенное гуманитарное издательство.

Initial Elements and Mini-formulas in Russian Bylinas Summary

The complex of problems connected with functions and regularities of usage of initial elements in Russian bylinas are considered in the article. Their regional differences are absent practically, but the most singers choose some collection of initial particles and mini-formulas. They use their favourite ways of construction of verses and methods of connecting lines into tirades. Analysis of frequency of their usage lets to reveal falsifications of the texts edited by publishers and bylinas which have been recorded not during singing but during dictation by performers. No deviations from the canons of Russian epic are found in the texts from the collection of Kirsha Danilov. It is evident that they are traditional.

Key words: *bylina (Russian epic), initial particle, mini-formula, epic line, tirade (some lines), epic tradition.*

Гендрик Петкевич

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
karpishuk@vpu.lt

Фольклор старообрядцев Литвы: взаимодействие и взаимообогащение культур

Традиционная культура русских старожилов долгое время оставалась практически неизвестной науке. Массовое собирание произведений русского фольклора в Литве началось гораздо позднее, нежели в соседних странах Балтии. В начале и в первой половине XX века записи носили случайный характер, были зафиксированы собирателями лишь единичные тексты, что не давало даже приблизительного представления о состоянии фольклорной традиции. И лишь в 1960-е годы, в связи с введением в учебную программу Вильнюсского университета диалектологической и фольклорной практики, полевые исследования заметно активизировались. Студенты-филологи побывали почти в каждой деревне, на каждом хуторе, жители которых считали своим родным языком русский. Этой трудоемкой работой руководила Нина Константиновна Митропольская (1921-1993). В архиве Вильнюсского университета хранится около 60 тысяч текстов, многие из которых представляют несомненную научную и художественную ценность. Этим архивам могут позавидовать многие исследовательские центры. В педагогических вузах Литвы учебная практика не проводилась, но члены фольклорного кружка Вильнюсского педагогического института под руководством профессора Юрия Александровича Новикова также проводили довольно активную собирательскую работу.

Новым этапом в собирании, систематизации и изучении фольклора можно назвать 1995 год, когда при Вильнюсском университете была создана Интердисциплинарная группа по изучению старообрядцев Литвы, позднее преобразованная в Ассоциацию исследователей старообрядчества в Литве. В Ассоциации объединились представители ряда смежных научных дисциплин: историки, этнографы, диалектологи и историки языка, фольклористы-словесники, специалисты по народной музыкальной культуре, рукописным и старопечатным книгам. С 1996 года организовывались комплексные экспедиции в разные районы Литвы и приграничные старообрядческие деревни Латвии и Бе-

ларуси. Отметим, что социокультурные процессы в современном мире определяются двумя генеральными тенденциями: с одной стороны, становлением единой постиндустриальной культуры, которая свидетельствует о значительных интеграционных процессах, с другой – повторным открытием национальных индивидуальностей, языка и культуры, обращением к проблеме этнокультурной идентичности. Материалы экспедиций показали, что, как и в прошлом, так и в настоящее время старообрядческие общины являются значительными духовными и культурными центрами. Сохраняя черты каноничности и непрерывную связь с традицией, эта часть русской культуры, конечно же, видоизменяется. Тем не менее некоторые важные ее аспекты остаются до сих пор мало изученными, а само староверие является почти неизвестной и несколько загадочной для многих граждан Литвы религиозной традицией.

Своеобразным результатом экспедиций можно назвать трёхтомный сборник фольклора старообрядцев Литвы (I и II тома уже вышли, III – находится в издательстве). Это первое издание такого масштаба, знакомящее нас с фольклорными произведениями разных жанров, записанных от старообрядцев Литвы во второй половине XX века. Вышедший в 2007 году I том, подготовленный профессором Ю. А. Новиковым, включает более 200 текстов сказок, около 4000 пословиц и поговорок и свыше 300 загадок. Многие из текстов публикуются впервые, другие были напечатаны когда-то в малодоступных научных сборниках и журналах Литвы и России. Во II томе (2009 г.) публикуется более 1000 текстов, которые напрямую связаны с народной бытовой магией и мифологией, регламентируют поведение людей, объясняют особенности окружающего мира. Это христианские легенды, предания, поверья; календарные, семейные и хозяйствственные обряды; заговоры и рассказы об их бытовании; мифологические сказания разных тематических циклов.

Знакомясь со сборниками, можно заметить, что, несмотря на географическую отдаленность от своей прародины, русские старожилы Литвы не были от нее изолированы в культурном плане: их фольклорная традиция оказалась открытой для восприятия и реализации общерусских тенденций развития духовной культуры в XIX-XX столетиях. Вместе с тем на систему жанров, на репертуар и даже на стиль местных певцов и рассказчиков определенный отпечаток наложили длительные контакты с соседними народами. Для Литвы, как отмечают исследователи,

не характерны компактные, тяготеющие к замкнутому образу жизни старообрядческие общини. Как правило, русские деревни соседствуют с литовскими или польскими, а еще чаще население в них смешанное – литовцы, русские, поляки, белорусы, литовские татары; до 1940 годов в маленьких городках проживало немало евреев. Это создавало исключительно благоприятные условия, «особый фольклорный микроклимат», способствующий активному взаимодействию и взаимообогащению традиционных культур разных народов. Особенно часто старообрядцы заимствовали у соседей сказки, бытовые лирические песни, пословицы и поговорки, загадки, исторические и топонимические предания. Во вступительных статьях к отдельным разделам и к томам в целом, в комментариях к текстам они сопоставляются с аналогичными произведениями литовского фольклора, а также с записями, сделанными от староверов Латвии, Эстонии и северо-запада Беларуси.

В районах с многонациональным населением в фольклоре каждого народа важную роль играют межэтнические и межконфессиональные отношения, проблема языкового барьера. Особенно это своеобразие региона отразилось в бытовых сказках старообрядцев. В сказках герои часто переходят с русского языка на польский (местный речевой этикет XIX века), их речь пестрит литовскими и белорусскими словами (лит. – *статула* / *statula*, *рагана* / *ragana*, *довинта* / *dovytı* [изводить], *шерюк* / *šeriutəs* [щетинистый], *не рути* / *nesirūpink* [не беспокойся], *рапуга* / *ripūžė* [жаба], *ачу* / *ačiu* [спасибо], белор. – волна / *война*, веселье / *вяселле*, *рушиник* / *рушинік*, сделай ласку / *калі ласка*, полеванье / *паляванне*, *махляр* [обманщик], польск. – *млеко* [молоко], *кровя* [корова], *нех жие* [пускай живёт], *попсул* [испортил], белор. и польск. – *хвороба* [болезнь], *марец* [март], *убочай* [извини], *упарта* [упрямая] и т.д.). В некоторых текстах обыгрывается взаимное непонимание носителей разных языков (русского и польского, польского и белорусского), персонажи отпускают весьма колкие остроты в адрес собеседников иной национальности:

Про белоруса и поляка-ксенду

Приходит к ксенду белорус. Человек низко кланяется, снимает шапку. А дверь не закрыл, открытую оставил. Ксендз был поляк и говорит вошедшему:

– Замытай!

А белорус смотрит недоуменно на ксенду и молчит. Ксендз снова повторяет своё слово. Белорус ему в ответ:

– Не могу!
 В третий раз уже кричит ксёндз:
 – Замыкай!
 И тогда белорус замычал: «Му-у-у!»
 (Новиков, 2007, 346)

Побасенка

В Литве поляки живут и русские. Раньше поляки Литвой владели, а литовцев, русских не любили, за людей не считали. Говорили:

– Мы, поляки, из белой пшеничной муки сделаны, а вы – из глины. А русские отвечают:

– Вас Бог из пшеницы сделал, а собака прибежала и взяла, не отдаёт. Рассердился Бог, стал собакой об дерево бить. Где об ольху ударит, где – об вишню, где – об берёзу, о сосну. Вот и получились Ольшевские, Вишневские, Березовские, Сосновски., А нас, русских, Бог из глины сделал и в огне обжёг. Вот и стали мы крепкие, и собака нас не трогает.

(Новиков, 2007, 345-346)

Однако такое непонимание весьма редко. Свободное владение старообрядцами двумя или тремя языками способствовало расширению фольклорного репертуара, заметно обогащало арсенал художественно-выразительных средств. К примеру, влиянием литовской традиции объясняется пристрастие русских сказочников к речитативному или напевному исполнению повторяющихся стихотворных формул, обилие слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, характерными и для разговорной речи литовцев, и для языка их народной поэзии. Отмечается и творческий подход исполнителей к заимствованным эпизодам и образам, стремление подчинить их своей национальной традиции (Ужа – заменяет водяной, Бабу-ягу – рагана или змея) Особенno эти процессы проявились в пословицах и поговорках. Заимствованные у поляков и белорусов пословицы чаще всего употребляются без перевода (сказывается родство языков), литовские же обычно переводятся дословно (калькируются). Можно сказать, что билингвизм и полилингвизм – обычное явление этих мест. Цель данной статьи исследовать белорусскую составляющую в фольклоре старообрядцев Литвы. Учитывая довольно ограниченный объем статьи, остановимся только на жанре пословиц и поговорок.

В пословицах довольно много реалий, отражающих проживание старообрядцев по соседству с белорусами. *Два Юрья, а оба*

дурни: один холодный, другой голодный – праздник святого Георгия Победоносца отмечается два раза в год – весной, 23 апреля по старому стилю, когда в хозяйстве заканчиваются все припасы (голодный), и в начале зимы, 26 ноября (холодный). В большинстве областей России Георгия Победоносца в народе называют *Егорий*, у белорусов распространена другая форма его имени – *Юрий* (*Юръя*). Поэтому данный текст, скорее всего, позаимствован у соседей-белорусов. Белорусские имена встречаются и в других текстах: Як Якуб Богу, так и Бог Якубу (Новиков, 2007, 431); Па Юрке и шапка (Новиков, 2007, 507). «Все пословицы народом строятся» (Новиков, 2007, 434) – это действительно так. Проживая по соседству с белорусами, старообрядцы начинают использовать в своих пословицах слова, обозначающие родственные отношения. Такие близкие каждому белорусу слова как «матуля», «жонка», «бацька» встречаются в этом фольклорном жанре весьма часто:

Не поймёшь – или дровы секёт, или жонку бьёт. (Слышино: «Эх-эх-эх!»)

По-твоему, жонку отдаи дяде, а сам воротись к батьке? Дудки!

Дал Бог урожай – батька дочку наряжай.

Как батька набил – что я знал, и то забыл.

Все глаза батьке завесил.

Залепи батьке деръмом бороду.

Забирай свои сбруи и отчаливай к матуле!»

(Новиков, 2007, 385-533)

Швагры, швагерки, мальцы, дитюки, бабули, дзядули – получили также постоянную прописку в ярких паремиях:

Швагра бьёт смагло. («Швагра» – швагер, деверь)

Швагра, целуй смагло! («Смагло» – это крепко или сильно)

На что это похоже – жену от швагерки отличить не может! («Швагерка» – сестра жены)

Были девкам[и], были мальцам[и]; всё прошло, как через пальцы. («Малец» – парень, юноша)

Громче петухов девки поют, мальцам спать не дают.

Как тюк, так дитюк. (Частные дети).

(Новиков, 2007, 385-533)

Часто даже сами исполнители отсылают нас к «белорусским первоисточникам»: «Маменька, меня мальцы любят! Как про злюди – всё камнем в груди». (Приходит ободранная вся. «Что в тебя?» «Ма-

менька, меня малыцы любят...» «Проз люди» - как выйти на люди... Это идёт с белорусского; просто байка такая). (Новиков, 2007, 391)

В пословицах и поговорках старообрядцев Литвы исследователи находят довольно большой пласт вкраплений бытовой белорусской лексики. Это своеобразный результат исторически нараставшего сближения русских старообрядцев с их соседями-белорусами:

Век прожить – не мех сшить («Мех» - мешок)

От тюрьмы, от торбы не отрекайся.

Оженился мешок с торбой – ну, и добра!

Морда – не торба, не для всякого.

Сердце, як на плите фаерце. (Сердце плохо ему... На простых плитах есть фаерки – круги такие)

Матка бьёт – на печку гребись (забирайся), муж бьёт – за клямку держись. (Т. е. убегай из дома; «клямка» - щеколда для открывания двери)

Людей оговорил, что в варятке язык обарил. («Вараток» - кипяток)

Там тебя прямо за дуту – и на цевк! («и на цвек» - на гвоздь, пол. «дупа» - задница)

Разум – не кисет, с кишени не выберешь. («Кишень» - карман)

Забирай свои цацки (игрушки) и иди на свой дединец (двор).

Другой радости нет – то и хрен цацка.

Попал в пастку – и кукуй. («Пастка» - мышеловка, ловушка, капкан)

По чужим кутам всю жисть не проживёшь. (Присловье к безземельному.) («Кут» – угол).

(Новиков, 2007, 385-533)

Не исключено, что с белорусским влиянием связана и пословица (без белорусской лексики) – Не привязанный медведь не пляшет. В имении князей Радзивилов в XVII-XIX веках находилась знаменитая «Сморгонская медвежья академия», где дрессировали медвежат для выступлений в медвежьей комедии, медвежьей потехе на ярмарках. «Выпускники» Сморгонской академии со своими вожатыми «гастролировали» во всех северо-западных губерниях Российской империи. Из приведенных выше примеров мы видим, что люди, живущие по соседству, не могли находиться в изоляции. Между ними возникали торговые, культурные, бытовые отношения. Общаясь между собой, соседи заимствовали друг у друга предметы домашнего и личного обихода. Одновременно

усваивали и называющие их слова. «Чужие» слова иногда так прочно усваивались, что люди даже «забывали их иностранное происхождение»:

Животный и растительный мир

Промежу их щура не пролезет. («Щура» – крыса. Это уже дружно живут, договоривши.)

Сидит, як щура под метлой.

Развелось, как пашуков хвостатых. («Пашук» – крыса)

Нашутался, как пашук на крупы.

Вижит, как парсюк недорезанный. («Парсюк» – боров, поросёк)

Как шпаки – однодверцы, однодырцы. (Это бедные уже.) («Шпаки» – скворцы)

Цапнул, как ботьян жабу. («Ботян» – аист)

Сменял быка на индыка (индюка).

Пошла Юля по цыбулю, а ни Юли, ни цыбули. («Цыбуля» – лук)

Поехал с бураками на мельницу.

Кончилась бульбянная (картофельная) каша. (Бульбянная каша не такая уже и важная, а, значит, и она кончилась).

(Новиков, 2007, 385-533)

Торговые отношения

Ведёшь гандель и торжок – завсегда полный горшок. («Гандель» – как обмен товара идёт: «Давай гандлюем!» Ещё есть такая байка: «Чем гандлюешь?» «Мелким рысом.» «С кем гуляешь?» «С чёртом лысым!»)

В один день два кирмаша не отбудешь. («Кирмаш» – сельская ярмарка, базар)

Раньше так и на кирмаш не одевались.

Нам бы гроши и девушки хороши. («Гроши» – деньги)

(Новиков, 2007, 385-533)

- А ты за чым?

- Куплять зайчин! (нечего делать человеку, идёт прогуляться на ярмарку или зайти в магазин. Встречают его: «Куда?» «В магазин» «А за чым?» «Куплять зайчин» Ему, может, говорить нельзя, за чем...)

(Новиков, 2007, 482)

Трудовые отношения

Какая праца, такая и плата. («Праца» – работа)

Кусок хлеба с рук валится – говорят, не заробил. (Шуточная примета; «заробил» - заработал)

Гультай не боится, что залежится. («Гультай» – лентяй)

Нашли толочанов – им своих сосков не подобрать! («Толочане», «талаchanе» – участники «толоки», совместной работы)

Увага – делу на благо. («Увага» – внимание)

Взялась и роби (работай).

Ходишь, как бык по школы, без делов. («Шкода» – вред, порча)

(Новиков, 2007, 385-533)

Традиции

А вот моя пасага (приданое), могу замуж выходить. (О «смерётной одежде», заранее приготовленной для похорон. В народных обрядах и обычаях смерть нередко уподобляется свадьбе)

Чего плачешь? Веселися, бо вяселля твоя дисе! («Вяселля» – свадьба)

Пришла рогатка в хату. (Это сынова уже – невестка, сноха)

Такие деньги я и на могилках получу. (Мало. «Могилки» – кладбище, «получить на могилках» – получить подаяние на кладбище в дни поминовения умерших)

Конечно: панам яечна (яечня), а тебе клёцки. («Ай, ай, чем же вас угостить?» Самое лучшее в старину было – яичницу, самому дорогому гостю. А теперь яичницу пекут, как нечего кушать)

Конечно: свату яечня, а жениху – клёцки.

(Новиков, 2007, 385-533)

Народы-соседи всегда много заимствуют друг у друга, особенно в языке. И чем теснее отношения рядом проживающих людей, тем все больше редких, малоупотребительных слов одного народа мы находим в лексике другого. Исследователей не удивляет, когда в пословицах и поговорках старообрядцев мы встречаем такие слова как снеданне (завтрак), падвячорак (поздник), ён / яна (он / она), нядзеля (воскресенье), махляр (лгун), смачный (вкусный), нашто (зачем), ицький (искренний), нарэшце (наконец-то), травень (май), вяликий (большой) и другие. Но вызывает приятное удивление, когда старообрядцы в свои фольклорные произведения включают «особые слова» белорусов. Так довольно часто у староверов встречается белорусское слово «хвароба» (болезнь), «болька» (болячка) – Отстань, хвороба, иди ты на сухой лес! (Фрагмент заговорной формулы.) (Новиков, 2007, 395); Чужая болька не болит.(Новиков, 2007, 406); Какая его хвороба несёт?; Какая хвороба, такое и лекарство (Новиков, 2007, 509). Но мы можем также встретить и «белорусскую конкретизацию» болезни:

Чтоб тебя мышки хватили! (Это лошадь мышки хватают. Люди говорят – крота живого замучить, порвать, эту лошадь погладить в кротовой крови, и пройдут эти мышки. И про человека так само: «Чтоб тебя мышки хватили!» А как хватают, конь весь дрожит и валится.) В белорусском языке «мышки» – «хвароба каня» (болезнь лошади).

(Новиков, 2007, 491)

Огромное количество в исследуемых пословицах белорусских глаголов журіцца (печалиться), жабраваць (побираться), маю (имею), ратуй (спасай), зробім (сделаем), загаіцца (зажить), трэба (надо) и других. Каждый глагол мы встречаем в записях не один раз. Возьмем глагол «куляцца» (кувыркаться, падать):

От нашего порогу куляцца всю дорогу!

Как вкулился, так и выкулился. (Это тоже пьяница касается – он войдёт, а его оттуда выбросят. Или спрашивают: «Был у вас?» «Был. А как вкулился, так и выкулился».

Обобщая весь этот материал, процитируем яркую пословицу – *Некриничный ручей быстро высыхает* (Новиков, 2007, 381). Как жизнь ручья зависит от ключей, родников (чем их больше, тем лучше), так и пословичный фонд русских старообрядцев Литвы постоянно питают живые родники – и духовное наследие предков, и золотые зерна народной мудрости литовцев, поляков, белорусов, евреев, и новые речения .

ЛИТЕРАТУРА

Живое слово. Фольклор русских старожилов Литвы, 1999, сост. Новиков Ю. А., Вильнюс: ВПУ.

Русские пословицы Литвы: Из собр. Е. Колесниковой, 1992, сост. Новиков Ю. А., Щадрина Т. С. 1992, Вильнюс: Вага.

По заветам старины. Мифологические сказания, заговоры, поверья, бытовая магия старообрядцев Литвы, 2005, сост. Новиков Ю. А. 2005. СПб: Тропа Троянова.

Новиков Ю. А., 2007, Фольклор старообрядцев Литвы: Тексты и исследование. Сказки. Пословицы. Загадки 1. Вильнюс: ВПУ.

Новиков Ю. А., 2009, Фольклор старообрядцев Литвы: Тексты и исследование. Народная мифология. Поверья, Бытовая магия 2. Вильнюс: ВПУ.

Folklore of the Old-believers' in Lithuania: Interaction and Mutual Enrichment of Cultures

Summary

The author of the article states that, to some extent, old-believers' folklore in Lithuania came under the influence of long contacts with bordering nations. The statement is illustrated by ample examples.

It is not characteristic for old-believers' communities in Lithuania to lead an insular and closed life. As a rule, Russian villages neighbor with Lithuanian or Polish ones, and what is even more common that inhabitants in these villages are of different nationalities, i.e. (consisting of) Lithuanians, Russians, Poles, Byelorussians, and Tatars of Lithuania. Also, Until 1940s in small towns quite a few of Jews lived. This situation of "special folklore microclimate" used to (and still does) foster active interaction and mutual enrichment of traditional cultures of different nations.

Bilingualism and polylingualism is a common phenomenon in Lithuania. The old-believers usually speak two or three languages which are mostly spread in Lithuania. It is a prerequisite for extending of folklore repertoire and enrichment of artistic and expressive means of expression.

Thus, the aim of the article is to identify Byelorussian paradigm in folklore of the old-believers in Lithuania. As far as the format of the article is limited the author focused only on the genre of proverbs and sayings. The author advocates that proverbs of the old-believers in Lithuania is constantly enriched by live sources of ancestors' spiritual heritage, golden grains of national wisdom of the Lithuanians, Poles, Jews, and Byelorussians.

Key words: *folklore of the old-believers, interaction and mutual enrichment of cultures, Byelorussian paradigm, folklore genres.*

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERARY CRITICISM

Елена Белова

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
jelena.belova@gmail.com

Тимур Кибиров: в диалоге с традицией

Тимур Кибиров – один из самых ярких представителей русской современной поэзии, лауреат пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера (1993), премии «Антибукер» (1997). В апреле 2008 года ему была присуждена Национальная премия «Поэт».

Современная критика по-разному относится к творчеству поэта: то его называют *певцом обыденного сознания* (В. Шубинский), то самым *трагическим поэтом современности* (А. Левин); то относят к *концептуализму* (М. Эпштейн), то к *критическому сентиментализму* (С. Гандлевский), то к *неореализму* (Н. Шром). На самом деле, поэзия Т.Кибирова меняется: стихи 80-х существенно отличаются от написанных в конце 90-х – начале 2000-х годов. Целью данной статьи является проследить процесс трансформации, выявить новые тенденции и обозначить элементы присутствия традиционного начала в его поэтическом творчестве.

В 80-е годы Тимур Кибиров был близок к концептуальной поэзии. Неслучайно, будучи в эти годы членом клуба «Поэзия», он являлся одним из лидеров театра поэтов «Альманах», куда входили Д. Пригов, Л. Рубинштейн, М. Айзенберг, С. Гандлевский, Д. Новиков. Молодых поэтов объединяло отношение к живому языку социума как к источнику своего творчества, а также факт их непризнания официальной прессой.

Для ранних стихов Кибирова характерна деконструкция советского мифа, поза антипоэта, тотальная цитатность, пародийно-ироническая имитация различных художественных кодов, направленность к массовому сознанию, «неряшлисть» словесной ткани («Послание Льву Рубинштейну», «Рождественские аллегории» и др.). Однако, даже сквозь концептуалистские, иронически-игровые тексты прорывалась у него лирическая, даже ностальгическая нота:

Щёлкни ж на память мне Родину эту,
 всю безответную эту любовь,
 музыку, музыку, музыку эту,
 Зыкину эту в окошке любом!
 Бестолочь, сволочь, величие это:
 Ленин в Разливе, Гагарин в ракете,
 Айзенберг в очереди за вином! ...
 (Кибиров, 2005, 841)

Свой путь в поэзии Т. Кибиров определил так: это скрытая многозначность, пушкинская лукавая «глуповатость», простота, взращённая на сложной игре смыслов и стилей. <...> Спокойное и свободное обращение к табуированным темам, жанрам, лексическим пластам. И, самое важное, отсутствие «банальной боязни банально-го» (выражение Набокова), реанимация пафоса и сентиментальности (Кибиров, 1990, 6). Критика неоднократно отмечала сплав лиризма и социальности в стихах поэта. «Кибиров смеётся и плачет одновременно, - пишет А. Левин. Смеётся и плачет одновременно над собой и над страной, в которой живёт; над всеми нами, живущими рядом; вместе с нами, а не над! У него, пожалуй, у первого <...> находишь столь сильно, чисто и заразительно выраженную щемящую горько-сладкую ностальгию по тем, более или менее страшным временам, когда мы <...> были молоды, по временам, которые вдруг стали нестращными – потому что ушли навсегда» (Левин, 1995).

Поэт в своих ранних стихах точно выражал тоталитарное сознание советского человека, в котором смешались чувство неприятия прошлого и чёткое осознание собственной зависимости от него. Это сознание находит своё выражение в тех бытовых деталях, мельчайших подробностях жизни, которыми были наполнены его стихи, построенные по принципу каталога. Однако это было отнюдь не «бесконечное перечисление имён, вещей, утративших всякую смысловую и телесную конкретность», как считает В. Шубинский (Шубинский, 2000), напротив, это были семантически наполненные знаки эпохи:

Пахнет дело моё керосином,
 керосинкой, сторонкой родной,
 пахнет «Шипром», как бритый мужчина,
 и, как женщина, «Красной Москвой»

(той, на крышечке с кисточкой), мылом,
банным мылом да банным листом,
общепитской подливой, гарниром,
пахнет булочной – там, за углом!

Чуешь, чуешь, чем пахнет? – Я чую.
Чую, Господи, нос не зажму –
«Беломором», Сучаном, Вилюем
домом отдыха в синем Крыму!

Пахнет вываркой, стиркою, синькой,
и на ВДНХ шашлыком,
и глотком пертусина, и свинкой,
и трофеинным австрийским ковром,

свежевыглаженным галстуком алым,
звонким «штандыром» на пустыре,
и вокзалом, и актовым залом,
и сиренюю у нас на дворе! ...

(Кибиров, 2005, 753)

Перечислительная интонация, при помощи которой поэт фиксирует приметы своего времени, помогает создать целую картину неустроенного советского быта, вызывающего в нём смешанные чувства – неприязнь и любовь одновременно. В одном ценностном ряду здесь оказываются как чисто бытовые, так и социально-политические знаки времени: «керосинка», на которой до появления в квартирах газа, готовили нехитрую еду, и Сучан, Вилюй – места массовых ссылок, где репрессированные работали в угольных шахтах и на алмазных рудниках; запах выварки, синьки (запах стирки - кипячения и отбеливания - белья) и самых лучших в то время советских духов «Красная Москва» – знак доступного советского шика; «трофеинный» ковёр (знак послевоенного времени) и популярная в те годы детская игра в мяч – «штандырь». Несмотря на обилие деталей, на первый план у Кибирова выдвигается авторская личность со своими эмоциями и искренними переживаниями. Позиция прямого лирического высказывания является характерным признаком традиционной поэзии. Лирико-ностальгическая нота, пронизывающая данный текст, связана с памятью поэта о детстве, которое пришлось на 50-60-е годы. Тема детства у Кибирова тесно переплетается с темой

родины, её судьбы, истории, что, по справедливому замечанию исследовательницы О. Богдановой указывает на «зависимость поэта не столько от современных традиций концептуального искусства, сколько от традиций классической русской литературы» (Богданова, 2001, 158). Обычно в постмодернистских текстах, иллюстрирующих тезис «смерть автора» (Р. Барт), используется форма авторской маски. Реального автора, как отмечает И. Скоропанова, здесь «замещает автор-персонаж, предстающий одновременно как эрудит/эстет/гений и клоун/юродивый/графоман – фигура травестированная» (Скоропанова 2001, 160). Однако наличие открытой эмоции, искренности в текстах Т. Кибирова явно преобладает над пародированием, что позволяет говорить о реализации в них именно авторского голоса.

Экспрессивное проявление лирических эмоций в текстах Кибирова «работает» на создание образа своеобразного лирического героя – «своего парня», всегда готового раскрыть душу в дружеском кругу (наличие образа лирического героя характерно для традиционной классической поэзии). Его поэтические тексты всегда направлены на восприятие другим человеком (отсюда обилие текстов, написанных в жанре послания), зачастую в них фигурируют прямые обращения, как например, в послании «Л. С. Рубинштейну»:

*Лев Семёныч! Вы – не русский!
Лёва, Лёва! Ты еврей!*

*Я-то хоть чучмек обычный,
ты же, извини, еврей!
Что ж мы плачем неприлично
Над Россиею своей?*

Образ России складывается здесь на основе вполне узнаваемых знаков русской культуры и литературы: звучат различные стихотворные интертексты (А. Пушкин, М. Лермонтов, Г. Державин, А. Блок, О. Мандельштам), открыто номинируются художественные образы русской прозы (А. Чехов, Л. Толстой, Ф. Достоевский, В. Набоков).

*Над Россиею своею,
над своею дорогой,
по-над Летой, Лорелей,
и онегинской строфой*

и малиновою сливой,
 розой черною в Аи,
 и Фелицей горделивой,
 толстой Катькою в крови,
 и Каштанкою смешною,
 Протазановой вдовой,
 чёрной шалью роковою,
 и процентщицей седой,
 и набоковской ванессой,
 мандельштамовской осой,
 и висящей поэтессой
 над Елабугой бухой!

(Кибиров, 2005, 807)

При ближайшем рассмотрении вся эта пестрота культурных знаков сопряжена с такими полярными концептами, как трагедия и величие, красота и безобразие, душевная широта и скучность, высокая духовность и низость. Именно на стыке этих полярностей и рождается сакральное чувство любви, о котором открыто говорить не принято.

Основным средством создания постмодернистского игрового текста является пастиш – «пародийно-ироническая имитация разнообразных художественных кодов (манер и стилей), смешиваемых между собой, соединяемых как равноправные» (Скоропанова, 2001, 75). Особенностью игры Кибирова с другими текстами является то, что он их лирически осваивает, насыщает собственным личностным отношением. В результате, даже в стихах, где фигурирует персонажная маска, слышен голос автора. Так, например, цитатное заглавие стихотворения Кибирова «Шаганэ, ты моя, Шаганэ...», сразу вызывает в сознании читателя ассоциации с одноимённым знаменитым стихотворением С. Есенина из цикла «Персидские мотивы» и настраивает на непринуждённый, игровой лад, который вскоре разрушается при помощи деконтекстуализации:

Шаганэ, ты моя, Шаганэ...
 Потому что я с севера, что ли –
 По афганскому минному полю
 Я ползу с веющимся комом на спине.
 Шаганэ, ты моя, Шаганэ.
 (Кибиров, 2005, 703)

Внешний игровой «антураж» текста (использование персональной маски, говорящей на гибридно-цитатном языке; эксплицитной цитации есенинских строк и соединение их с современной армейской лексикой; стилизация, введение форм прямой речи и т.д.) вступает в противоречие с выбором хронотопа (афганская война, минное поле). Эксплицитные цитаты Есенина подвергаются перекодировке, за счёт чего происходит разрушение есенинского романтического мифа о Персии как о рай-стране. Сравним: у Есенина – «Свет вечерний шафранного края, / Тихо розы бегут по полям. / Спой мне песню, моя дорогая, / Ту, которую пел Хаям. / Тихо розы бегут по полям». У Т. Кибирова: *Тихо розы бегут по полям... / Нет, не розы бегут – персияне. / Вы куда это, братья-дехкане? / Что ж вы, чурки, не верите нам?.. / Тихо розы бегут по полям....* Мотив тоски по России, по дому, испытываемой лирическим субъектом «Персидских мотивов», в тексте Кибирова заостряется за счёт выбора ситуации, обнажающей крайнюю степень опасности армейской службы солдата-афганца (*И ползу я по минному полу...*), а также за счёт использования синтаксической цитаты (*А до дембеля 202 дня*) из знаменитого военного стихотворения А. Суркова «Бьётся в тесной печурке огонь...» – «А до смерти четыре шага...». Прекрасная Шаганэ трансформируется у Кибирова в обобщённый образ женщины-персиянки, готовой выстрелить в спину чужака-иноверца (*Шаганэ-Маганэ ты моя! <...> Не стреляй, дорогая, по мне!*), в знак воюющего Афганистана. Финальная строфа стихотворения, сотканная преимущественно из есенинских строк, поставленных в иной семантический контекст и усиленных повтором, конструирует ситуацию гибели героя (*И ползу я по минному полу - / Синий май мой, июнь голубой! / Что со мною, скажи, что со мной - / Я нисколько не чувствую боли! / Я нисколько не чувствую боли...*). Так, при помощи игровой поэтики Кибиров создаёт текст, раскрывающий серьёзные раздумья поэта над проблемой войны и мира. Конtrастное сочетание различных дискурсивных пластов (есенинский и армейский) помогает передать ощущение бессмыслинности афганской войны и осознание обречённости на гибель простого русского солдата, сражавшегося неизвестно за какие идеалы и за чьи интересы. Таким образом, цитатность вкупе с иронией для Кибирова становится средством нейтрализации серьёзности высказывания, своеобразным способом спрятать его сокровенность. Эта тенденция наблюдается и в зрелой лирике Кибирова.

Цитатность является важной чертой поэзии Кибирова по сей день. «Цитатный репертуар» у него чрезвычайно широк: от

текстов популярных советских песен, от детской «классики» (К. Чуковский) до классической и современной поэзии (Державин, Баратынский, Пушкин, Тютчев, Блок, Мандельштам, Ахматова, Окуджава, Евтушенко и др.). Однако с течением времени у него меняется отношение к «чужому» слову – меньше насмешки, больше почтения. Мы – заложники богатейшей культурной истории и традиции, – говорит поэт. ... От цитатности, от игры с предыдущей культурой никто не в силах уйти. Другое дело, что это можно делать грубо, а можно тонко. Надеюсь, лично я в последние годы делаю это тоньше, чем, скажем, в 1980-е годы. Цитируя и стилизую, я всегда предполагаю, что мой читатель, как минимум, не менее начитан, чем я сам, всё мгновенно улавливает, и что мы говорим с ним на одном языке (Мартовицкая, 2005). Таким образом, цитатность сегодня воспринимается им как «свободный перевод традиции на современный язык» (Ермолин).

О раннем этапе творчества, который принёс Кибирову неизвестность, сам поэт отзыается довольно критично: Очень большая часть моих текстов, к сожалению, была настолько увязана с контекстом того времени – политическим, эстетическим, нравственным, а то время было настолько уникально, что сейчас это может быть интересно только тем, кто специально занимается историей культуры (Кочеткова, 2005).

Распад ненавистной ему советской политической системы поэт воспринял как движение к непрекращающемуся хаосу. Стихи 90-х годов передают тот духовный кризис, который пережили многие интеллигенты в эти годы, разочаровавшись в горбачёвской перестройке и ельцинской рыночной политике:

Даёшь деконструкцию! Дали.
А дальше-то что? – А ничто.
Над кучей ненужных деталей
сидим в мирозданье пустом.
(Кибиров, 2005, 384)

Мотив надвигающейся катастрофы, беды, время от времени теряющий привычный пародийный статус, становится ведущим в лирике Кибирова конца 90-х годов («Парафразис» 1997; «Интимная лирика», 1998; «Нотации», 1999). В этот период времени происходит переоценка ценностей, самого себя, своего творчества: Время итожить то, что прожил,/и перетряхивать то, что нажил./Я ничегошеньки не приумножил./А кое-что растранжирил

даже. Меняется характер лирического героя. В стихах усиливается самоирония, поэт как бы снисходительно говорит о «малости» сделанного, открыто демонстрируя новую низкую самооценку. В мире хаоса он ищет какую-либо точку опоры и, кажется, находит её в семейной идиллии, в том обывательском мире, против которого всегда «сражались» поэты-романтики (*Будем с тобой голубками с виньетки: Средь клёкота злого/будем с тобой ворковать, средь голодного волчьего воя/будем мурлыкать котятами в тёплом лукошке./Не эпатаж это – просто желание выжить/И сохранить и спасти...*). Ощущение неодолимости хаоса жизни обостряет в поэте состояние ожидания смерти, которое, в свою очередь, оборачивается умением ценить малое, обычное. Его поэзия тяготеет к философичности. «Сентиментализм Кибирова, - пишет Е. Ермолин, - наполовину сводится к христианской эмоции жалости к человеку, из неё растёт» (Ермолин, 2001, 208). Кибиров явно возвращается к традиционным ценностям, ему становятся дороги такие понятия, как чистота, детская простота и наивность, Родина, вера в Бога:

*И я разеваю слюнявую пасть,
чтоб вновь заглотить галилейскую счасть,
и к ризам разодранным Сына припасть
и к ризам нетленным Отца!*

*Прижалвшись щекою, наплакаться всласть
И встать до конца.*

(Кибиров, 2005, 414)

В одном из своих интервью поэт прямо сказал, что ...*опереться возможно только на ценности, созданные христианской идеологией. И ещё: Я не вижу иной альтернативы, кроме возврата к нормам христианской культуры* (Галкин, 2005). Поэт отказывается от принципиального релятивизма, от отрицания иерархии ценностей, свойственных постмодернистской эстетике.

Ирония, характерная для современной культуры в целом и для кибировских текстов в частности, отнюдь не исчезает, однако теперь она, по определению поэта, *дозирована и уместна*; уходит язвительность и грубость, присущие ранним стихам. Ирония не мешает ему весьма серьёзно говорить о Главном.

Хорошо бы сложить стихи
 исключительно из чепухи,
 из совсем уж смешной ерунды,
 из пустейшей словесной руды,
 из пустот, из сплошных прорех,
 из обмоловок счастливых тех,
 что срываются с языка
 у валяющего дурака –
 чтоб угрюмому Хармсу назло
 не разбили стихи стекло,
 а как свет или как сквозняк,
 просочились бы просто так,
 проскользнули б, как поздний луч
 меж нависших кислотных туч,
 просквозили бы и уши,
 как озон в городской пыли.

(Кибиров, 2005, 414)

Лейтмотивом своей поэзии Т. Кибиров считает искреннее служение Истине, Добру и Красоте. По признанию поэта, бунт против традиции, начатый авангардистами начала XX века, закончился, и наступило ощущение некоторой культурной усталости. Однако, осознавая, что новизна в культуре рождается не на уровне букв, а на уровне смыслов, поэт признаёт необходимость соприкоснуться со всей совокупностью созданных человечеством текстов или хотя бы нашей родной традицией (Пермякова, 2008).

Точность слова, ясность мысли являются важными компонентами поэтики Тимура Кибирова. О наличии связи с традицией свидетельствует тяготение поэта к жанру лирического фрагмента, формальным признаком которого является наличие лирической ситуации, мгновенность переживания, иллюзия продолжения некоего разговора. Каждая новая книга стихов Кибирова представляет собой связное поэтическое повествование, а каждое отдельно взятое стихотворение предстаёт как «целостный поэтический сгусток, вырванный из контекста, предлагаемого тем самым к реконструкции» (Козлов, 2008, 143).

О диалоге с традицией говорит и обращение поэта к традиционным стихотворным размерам, которые им семантически пе-

реосмысливаются (см. Гаспаров, 1998). Однако в поздних стихах наряду со стройными классическими размерами наблюдается тенденция к расщатыванию стиха, включение в него прозаических фрагментов.

Выводы

Таким образом, игра стилей, цитатность, пародийность, широкое использование «нечензурной» лексики (в зрелой лирике довольно редкое) в лирике Кибирова являются внешним проявлением постмодернистской эстетики. Открытый же лиризм, исповедальность, признание вечных ценностей и твёрдость нравственных критериев, максимальная внятность лирического высказывания выводят его за пределы постмодернистского искусства и свидетельствует о расширении диалога поэта с русской классической традицией. Справедливости ради, следует отметить, что современная критика неоднозначно оценивает его поэзию последних лет, которая на самом деле неоднородна по стилю и качеству. Поэт находится в постоянном поиске, о чём свидетельствуют стилизованная под «Мойдодыра» К. Чуковского поэма «Кара-барас» (2006); опубликованные в 2008 году «Две поэмы» («Покойные старухи») с подзаголовком «лирико-диадематическая поэма», напоминающая больше лирическую прозу, нежели поэму; цикл стихов «Греко- и римско-кафолические песенки и потешки» (2009). Сам поэт считает, что поздние его вещи более интересны и достойны, чем ранние, хотя и не вызвали восторга у массового читателя. Кибиров – поэт псевдодоступный, его поэзия рассчитана на читателя, неплохо ориентирующегося в пространстве русской классической поэзии.

ЛИТЕРАТУРА

- Богданова О., 2001, *Современный литературный процесс*. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного факультета.
- Галкин Д., 2005, Кибиров Т. «Всё осталное нас ждёт впереди». Тимур Кибиров о роли литературы и ответственности художника. - http://www/poet-premium/ru/laureaty/kibirov_0_003/html
- Гаспаров М., 1998, Русский стих как зеркало постсоветской культуры. *Новое литературное обозрение* 32 (4/1998)
- Ермолин Е., 2001, Слабое сердце. – *Знамя* 8, 200 – 211.
- Кибиров Т., 1990, *Общие места*. Москва: Молодая гвардия.

- Кибиров Т., 2005, *Стихи*. Москва: Время.
- Козлов В., 2008, Жанровое мышление современной поэзии. – Вопросы литературы 5: (сентябрь-октябрь), 137 – 159.
- Кочеткова Н., 2005, Тимур Кибиров: «Где те юноши и девушки, что должны выстраиваться мне вслед?» //<http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/kibirov/>
- Левин А., 1995, О влиянии солнечной активности на современную русскую поэзию. - <http://www.levin.rinet.ru/TEXT/kibirov.htm>
- Мартовицкая А., 2005, Кибиров Т. «Писать хорошими рифмами слишком легко». - http://www.poet-premium/ru/laureaty/kibirov_0_001.html
- Пермякова И., 2008, Интервью с Тимуром Кибировым. - http://www.lit-karta.ru/dossier/interview-kibirov/dossier_5460
- Скоропанова И., 2002, *Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык*. Санкт-Петербург: Невский проспект.
- Шубинский В., 2000, О Тимуре Кибирове. Волшебная палочка, или торжество добродетели! - <http://litpromzona.narod.ru/reflections/shuub3.html>

Timur Kibirov: in the Dialogue with the Tradition Summary

The dynamics of contemporary poet T. Kibirov's poetry is outlined in the article "Timur Kibirov: in the Dialogue with the Tradition". His early poetry is characterized by deconstruction of the Soviet myth, total use of quotations taken from other texts, parody; however, in the ironic-play texts a sincere nostalgic note can be detected. Contrary to the mask of a character, usually utilized in the postmodern poetry, Kibirov has turned to the form of the lyric hero traditional for the classical lyric poetry, who transforms throughout his entire poetry. A play of styles, excessive use of quotations, and parody in his poetry are still the external manifestations of postmodern aesthetics. Absolute sincerity, acknowledgement of eternal values, firm moral criteria, accuracy and clarity of poetic statements, gravity to the lyric fragment genre, to the traditional verse style testify about the poet's dialogue expansion with the Russian classical tradition.

Key words: *irony, parody, character's mask, intertextuality, lyric hero.*

Сейран Джанумов

Московский городской педагогический университет (Россия)
DjanumovSA@mail.ru

Москва в творческом сознании А. С. Пушкина

Жизнь и творчество великого русского поэта неразрывно связаны с Москвой. О московских страницах биографии Пушкина, о пушкинских местах Москвы и Подмосковья написано немало книг и статей. Но Москва была не только местом рождения, женитьбы и источником вдохновения для поэта. В творчестве Пушкина Москва воспринималась как место, связанное с величайшими православными святынями и с важнейшими событиями русской истории, и, прежде всего, с Отечественной войной 1812 года. Для поэта Москва всегда оставалась центром русской государственности, русской духовности, многовековой культуры русского народа. В творческом сознании Пушкина Москва – это первая столица русского государства, мать градов России («Воспоминания в Царском Селе») (Пушкин, I, 82). Тесно связан с этим значением сплошь и рядом повторяющийся уменьшительно-ласкательный эпитет «матушка Москва»: *Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве* («Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов») (Пушкин, XI, 206); Из «Московских ведомостей», единственного журнала, доходящего до меня, вижу, любезный и почтенный Михайло Петрович, что вы не оставили матушки нашей (письмо к М. П. Погодину. Начало ноября 1830 г. Из Болдина в Москву) (Пушкин, XI, 121); *Удостойте меня Вашим ответом и потешьте матушку Москву* (письмо к М. Н. Загоскину от 9 июля 1834 г. Из Петербурга в Москву (Пушкин, XУ, 177).

Подобно тому, как в народных былинах древний Киев ассоциируется с древней Русью и непременно называется «столицым градом Киевом», в творчестве Пушкина неоднократно подчёркивается, что Москва – это «первопрестольная» столица России. Такой эпитет и такой образ Москвы мы находим в самых различных по жанру художественных произведениях Пушкина, в литературно-критических статьях и набросках: в романе «Евгений Онегин»: *первопрестольная Москва* (черновые рукописи) (Пушкин, VI, 449); в повести «Гробовщик» из «Повестей Белкина»: *Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил*

и его (чухонца Юрка. – С. Д.) жёлтую будку (Пушкин, УП, 91); в критических памфлетах «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов»: ... к чему такая выходка противу первопрестольного града? (Пушкин, XI, 206) и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»: ... не ожидал я, чтоб «Северная пчела» возобновила свои нападения на благородного друга моего и на первопрестольную столицу (Пушкин, XI, 213).

Наряду с эпитетом «первопрестольная» в поэзии, в исторических сочинениях, в статьях и в эпистолярном наследии Пушкина в приложении к Москве очень часто встречаются синонимические эпитеты «древняя» и «старая», «старушка Москва» (последний эпитет, возможно, сложился под влиянием народных пословиц: см. ниже в конце абзаца): В почтенной кичке, в шущуне / Москва премилая старушка» (вариант белового автографа послания «Всеволжскому (Пушкин, II, 580); Он (Карл XII. – С. Д.) шёл на древнюю Москву... (поэма «Полтава») (Пушкин, У, 23); И перед младшею столицей / Померкла старая Москва...» (поэма «Медный всадник») (Пушкин, У, 136); Приехав в Москву, Бибиков нашёл старую столицу в страхе и унынии («История Пугачёва») (Пушкин, IX, 32); «... но я не умолкну, доколе не принужу к совершенному безмолвию ожесточённых гонителей моего друга и непочтительного «Сына отечества», издавающегося над нашей древнею Москвою («Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (Пушкин, XI, 213); ... золотые маковки старой столицы («Путешествие из Москвы в Петербург») (Пушкин, XI, 238), ...государь опять явился в древней столице (Пушкин, XI, 238), Во всех концах древней столицы гремела музыка (Пушкин, XI, 246), Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы (там же): ср. Москва горбатая; горбатая старушка (т.е. на холмах) (Даль, 1957, 330).

Для Пушкина именно Москва (а не Петербург) всегда являлась символом России, «сердцем России» («Путешествие из Москвы в Петербург». Варианты черновой редакции главы «Москва») (Пушкин, XI, 482); *Ныне нет в Москве мнения народного: ныне бедствия или слава отечества не отзывается в этом сердце [России]* (варианты черновой редакции главы «Москва» «Путешествия из Москвы в Петербург») (Пушкин, XI, 482). Поэтому в творческом сознании поэта Москва и Россия – понятия синонимичные, если не тождественные: *Благослови Москву, Россия*» (стихотворение «Наполеон») (Пушкин, II, 215); *В Москве не царь, в Москве Россия* (варианты чернового автографа стихотворения «Наполеон») (Пушкин, II, 711) и тождественные варианты беловой редакции

этого стихотворения (Пушкин, II, 715, 719); *Что нужно Лондону, то рано для Москвы* (в значении «для России». – С. Д.) («Послание цензору») (Пушкин, II, 267); *И ты, Москва, страны родной / Глава сияющая златом...* (основной черновик поэмы «Медный всадник») (Пушкин, У, 439).

Ещё чаще и последовательнее эти два равновеликие понятия - «Москва» и «Россия» - выявляются в трагедии «Борис Годунов»: «П а т р и а р х ... что *ещё выдумал! буду царём на Москве!*» (выделенные Пушкиным курсивом слова дважды повторяются в реплике патриарха) (Пушкин, УП, 24), «Ф е о д о р. Чертеж земли московской; *наше царство / Из края в край*» (Пушкин, УП, 43), «Хрущов (бьёт челом). Мы из Москвы, опалённые, бежали...» (Пушкин, УП, 53), «В с е ... *Да здравствует великий князь московский!*» (Пушкин, УП, 54), «В и ш н е в е ц к и й ... и думал ли ты, Мнишек / *Что мой слуга взойдёт на трон московский?*» (Пушкин, УП, 55), «Самозванец.... Как назову московскою царицей» (Пушкин, УП, 58), «Марина.... Помощница московского царя» (Пушкин, УП, 59), «Марина.... Наследнику московского престола» (Пушкин, УП, 60), «С а м о з в а н е ц ... Достойные московского престола» (Пушкин, УП, 62), «Веди полки скорее на Москву / *Очисти Кремль, садись на трон московский...*» (Пушкин, УП, 65), «Курбский.... Сей добрый меч, слуга царей московских!» (Пушкин, УП, 66), «К у р б с к и й. «Вот наша Русь: она твоя, царевич. / Там ждут тебя сердца твоих людей: / Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава» (Пушкин, УП, 67).

Таким образом, Москва в художественном мире Пушкина представлена не столько как историко-географическая реальность, сколько как знак или символ России. Этот как бы внепространственный признак Москвы закреплён не только в лирике, в поэмах и драматургии Пушкина, но и в его художественной прозе, в исторических сочинениях и в литературно-критических статьях: *Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою* («Капитанская дочка») (Пушкин, УП, 353); *Вдруг известие о нашествии и возвзвание государя поразили нас. Москва вззволновалась* («Рославлев») (Пушкин, УП, 153). В черновой редакции «Рославлева» вместо «Москва вззволновалась» было: «*Россия* вззволновалась» (Пушкин, УП, 748); *Пили здоровье русских и немцев. Пили в честь Москвы и Минхена* (Мюнхена. – С.Д.). *Пили здоровье России и Германии* (варианты автографа «Гробовщика») (Пушкин, УП, 630). В окончательном тексте повести осталось только: ... *пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков* (Пушкин, УП, 91); *То ли ещё будет! – говорили прощённые мятежники, – так ли мы тряхнём Москвою*

(«История Пугачёва») (Пушкин, IX, 12); ... *Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае* («Оправдание на критики») (Пушкин, XI, 159).

Часто образ Москвы предстаёт в произведениях Пушкина совершенно в духе фольклорной традиции. Так, в русском фольклоре вообще и в пословицах и поговорках в частности мы находим такое народное представление о Москве: «Москва всем городам мать» (Даль, 1957, 330) (ср. приведённые выше в первом абзаце нашей статьи пушкинские характеристики Москвы в разных его произведениях), «Кто в Москве не бывал, красоты не видал» (Даль, 1957, 330). Ср. у Пушкина: *Где ты, краса Москвы стоглавой, / Родимой прелесть стороны?* («Воспоминания в Царском Селе») (Пушкин, I, 81); «Москва, краса страны родной» (основной черновик поэмы «Медный всадник») (Пушкин, У, 439); *Самозванец. ... Я в красную Москву / Кажу врагам заветную дорогу* («Борис Годунов») (Пушкин, УЛ, 67).

Продолжим сравнение с фольклором пушкинских художественных определений Москвы. «Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная, православная, словоохотливая» (Даль, 1957, 330). Почти каждый эпитет, так или иначе характеризующий Москву в этой пословице, «отзывается» тем или иным образом в пушкинских произведениях и письмах.

Начнём с эпитетов «белокаменная» и «златоглавая»: *Перед ними / Уж белокаменной Москвы / Как жар, крестами золотыми / Горят старинные главы* (в этих строках «Евгения Онегина» причудливым образом сочетаются оба фольклорных (называемых в фольклористике «постоянными») эпитета Москвы) (Пушкин, УЛ, 154); *Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной...* («Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов») (Пушкин, XI, 206); ... *Как будто мрачные картины его* (Радищева. – С.Д.) *воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной* («Путешествие из Москвы в Петербург») (Пушкин, XI, 245); ... *так и теперь опять еду в белокаменную* (письмо к Н.С.Алексееву от 1 декабря 1826 г. Из Пскова в Кишинёв) (Пушкин, XIII, 309); ... *по крайней мере хочется зимою побывать в белокаменной* (письмо к М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. Из Михайловского в Москву) (Пушкин, XIII, 341); ... *Где дерзостный восстал Иван-Великой, / На голове златой носящий крест* (поэма «Монах») (Пушкин, I, 10); *И Кремль главами золотыми...* (черновые рукописи «Евгения Онегина») (Пушкин, УЛ, 449).

В главе «Москва» «Путешествия из Москвы в Петербург» Пушкин вспоминает о народных пословицах в связи со знаменитыми московскими пирами и обедами и вообще московским хлебосольством: «Московские обеды (так оригинально описанные кн. Долгоруким) вошли в пословицу» (Пушкин, XI, 246). Говоря об истинно русском радушии и хлебосольстве москвичей, Пушкин, по-видимому, имеет в виду стихотворения известного в то время поэта кн. И. М. Долгорукого (Долгорукова) (1764 – 1823) «Камин в Москве» и «Пир» (1802), посвящённые этой теме (в черновом, первоначальном варианте «Путешествия из Москвы в Петербург» вместо Долгорукого упоминался кн. П. А. Вяземский). Действительно, не только в приведённой выше пословице «Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная, православная, словоохотливая», но и во многих других говорится о московском хлебосольстве, гостеприимстве: «Славна Москва калачами, Петербург усачами», «Хлеба-соли покушать, красного звону (матушки Москвы) послушать», «В Москве всё найдёшь, кроме птичьего молока», «В Москве недорода хлебу не бывает», «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят», «Москва любит запасец», «Москва людна и хлебна» (Даль, 1957, 330 – 331).

Эта черта московского быта, точно подмеченная в народных пословицах и поговорках, выявлена во многих произведениях и письмах Пушкина: в стихотворении «Всеволожскому»: «Москва пленяет пестротой, / Старинной роскошью, пирами....» (Пушкин, II, 101); в основном тексте и в черновых рукописях «Евгения Онегина»: *И вот по родственным обедам / Развозят Таню каждый день...* (имеются в виду московские обеды. – С. Д.), Родне, прибывшей издалеча, / Повсюду ласковая встреча, / И восклицанья, и хлеб-соль (Пушкин, УI, 158), Москва Онегина встречает / Своей восточной суетой, / Старинной кухней угощает, / Стерляжьей потчует ухой» (Пушкин, УI, 479); в незаконченном романе «Рославлев»: Она (французская писательница мадам де Сталь. – С. Д.) приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засутилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды (Пушкин, УIII, 151), Отец её (Полины. – С. Д.), как нам уже известно,.. только и думал, чтоб жить в деревне, как можно более по московскому. Давал обеды... (Пушкин, УIII, 155); в набросках романа «Русский Пелам»: Москвичи помнят ещё его (отца героя романа. – С. Д.) обеды... (Пушкин, УIII, 416); в «Путешествии из Москвы в Петербург»: *Некогда в Москве пребы-*

вало богатое, неслужащее боярство, вельможи, оставившие службу, люди... склонные к пышным увеселениям, к безвредному злоречию и к дешёвому хлебосольству (Пушкин, XI, 240); в письме к П. В. Нащокину от 22 октября 1831 г. (из Петербурга в Москву): *Что-то Москва? Как вы приняли государя и кто возьмётся оправдать старинное московское хлебосольство?* (Пушкин, XIУ, 237).

Эпитет из приведённой выше пословицы о «православной» Москве встречается в творчестве Пушкина лишь один раз – в трагедии «Борис Годунов»: «Щ е л к а л о в. Заутра вновь святейший патриарх, / В Кремле отпев торжественно молебен, / Предшествуем хоругвями святыми, / С иконами Владимирской, Донской / Воздвигается; а с ним синклит, бояре, / Да сонм дворян, да выборные люди / И весь народ московский православный...» (Пушкин, УП, 10 – 11). Последний эпитет из той же пословицы – «словоохотливая» – по отношению к Москве в творчестве Пушкина мы не находим, но зато по существу о том же – о склонности москвичей к разным толкам и пересудам – говорится у поэта не один раз: в «Родословной моего героя»: «Люблю от бабушки московской / Я толки слушать о родне, / О толстобрюхой старине» (Пушкин, III, 427); в основном тексте и в черновых рукописях «Евгения Онегина»: «Татьяна вслушаться желает / В беседы, в общий разговор; / Но всех в гостиной занимает / Такой бессвязный, пошлый вздор; / Всё в них так бледно, равнодушно; / Они клевещут даже скучно; / В бесплодной сухости речей, / Расспросов, сплетен и вестей / Не вспыхнет мысли в целы сутки, Хоть невзначай, хоть наобум...» (Пушкин, УП, 159 – 160), Замечен он (Онегин. – С. Д.) – об нём толкует / Велеречивая Москва... (Пушкин, УП, 479).

Прочно связано в народных пословицах и в творчестве Пушкина представление о Москве как о городе невест: «Питер женится, Москва замуж идёт» (Даль, 1957 330), «Славится Москва невестами, колоколами да калачами» (Даль, 1957 331). Рисуя в «Путешествии из Москвы в Петербург» бытую, «допожарную» Москву, Пушкин приводит следующую пословицу: *Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками* (Пушкин, XI, 246). Эта пословица не имеет точного соответствия в фольклорных сборниках. Народ сложил об этих двух русских городах отдельные изречения, близкие по смыслу и словесному оформлению пушкинскому афоризму: приведённая выше пословица «Славится Москва невестами, колоколами да калачами» (Даль, 1957, 331); «Вязьма в пряниках увязла», «Вязьмичи – пряничники, коврижники. Мы люди неграмотные, едим пряники неписаные» (Даль, 1957, 344).

Пушкин, прекрасно знакомый с этими меткими, остроумными, добродушно-насмешливыми народными высказываниями, как бы контаминирует, составляет из двух народных пословиц одну новую, собственную, что не противоречит традициям фольклора. Приём контаминации для устного народного творчества вполне допустим и часто применяется не только в жанре пословиц, но также в сказках, былинах и песнях.

Следует отметить, что в главе «Москва» «Путешествия из Москвы в Петербург» Пушкин для подтверждения своих мыслей привлекает не только русские, но и французские пословицы, что свидетельствует о широте фольклористических интересов поэта. Так, в иронически-щутливом пассаже о московских балах и невестах Пушкин приводит французскую пословицу: *Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пирсы, чудаки и проказники – всё исчезло; остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую пословицу: «vieilles sotte les rues* («стары, как улицы» - франц. - С. Д.): московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, всё ещё цветущих розами (курсив Пушкина. – С. Д.)» (Пушкин, XI, 246). О том, что Москва всегда славилась своими невестами, Пушкин говорит не только в «Путешествии из Москвы в Петербург», но и в «Евгении Онегине». Вспомним тот «совет разумный и благой», который даётся матери Татьяны Лариной, обеспокоенной тем, что её старшая дочь даёт решительный отказ всем провинциальным женихам: *Что ж, матушка? За чем же стало? / В Москву, на ярманку невест! / Там, слышно, много праздных мест!* (Пушкин, УІ, 150). И Татьяна, действительно, даже сама не желая того, выступает в Москве в роли невесты и находит себе жениха – «важного генерала». Но это происходит в конце седьмой главы романа, а до того, как бы подтверждая слова соседа Лариных о Москве как «ярманке невест», Пушкин, описывая бал в московском дворянском собрании, пишет: *Там теснота, волненье, жар, / Музыки грохот, свечи блестанье, / Мельканье, вихорь быстрых пар, / Красавиц лёгкие уборы, / Людьми пестреющие хоры, / Невест обширный полукруг...* (Пушкин, УІ, 161). Да и сам Пушкин обрёл себе невесту – Наталью Николаевну Гончарову - именно в Москве, о чём он упоминает в автобиографическом стихотворении «Дорожные жалобы», созданном в болдинскую осень 1830 года: *То ли дело быть на месте, / По Мясницкой разъезжать, / О деревне, о невесте / На досуге помышлять!* (Пушкин, III, 178).

Пушкинское восприятие Москвы как его реальной и духовной родины менялось в разные годы его жизни и в разные периоды его творчества. Но одно оставалось неизменным: радость встреч и горечь разлук с этим замечательным и неповторимым городом. Полнее и ярче всего это выразилось в знаменитых строках «Евгения Онегина»:

*Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!*

(Пушкин, У1, 155).

Таким образом, пушкинская Москва – это целый мир понятий, образов, поэтических и бытовых ассоциаций, это определённое географическое и культурное пространство, образующее свой собственный городской «текст». После того, как В. Н. Топоров чрезвычайно удачно ввёл в научный оборот термин «петербургский текст» и разработал методологию его изучения (Топоров, 1995, 259-267), появилось немало работ и о «московском тексте» русской литературы (например, Малыгина, Беляева, 2004). Данная статья, где мы попытались рассмотреть некоторые элементы «московского текста», функционирующие в творчестве Пушкина, является лишь одним из подступов к этой большой и всё ещё требующей более исчерпывающего освещения темы.

ЛИТЕРАТУРА

- Даль В., 1957, *Толковый словарь живого великорусского языка*. Москва: Государственное издательство художественной литературы.
- Малыгина Н., Беляева И., 2004, *Москва и «московский текст» в русской литературе и фольклоре*. Материалы УП Виноградовских чтений. Редакторы-составители: Н. М. Малыгина, И. А. Беляева. Москва: МГПУ.
- Пушкин А. С., 1937 – 1949, *Полное собрание сочинений* в 16 т. Издательство АН СССР. Римскими цифрами указан том, арабскими – страница этого издания.
- Топоров В., 1995, *Петербург и «Петербургский текст русской литературы* - Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Москва: Прогресс.

Moscow in the Creative Thought of A. S. Pushkin

Summary

The article is devoted to the image of Moscow in A. S. Pushkin's creative thought. Pushkin's Moscow is a real world of concepts, images, poetic and everyday life associations, it is a special geographical and cultural space, which forms its own city "text". For Pushkin Moscow had always been a centre of the Russian State system, Russian spirituality, and centuries-old culture of Russian people. That is why the image of Moscow often appears in Pushkin's works quite in the spirit of folklore tradition.

Key words: *Moscow, creative work, associations, proverbs, images, culture.*

Ирина Куликова

Вильнюсский педагогический университет (Литва)

ruslit@vpu.lt

Локус могилы / гробницы в русской сентиментальной повести

Фиксированным элементом повествовательной структуры многих русских сентиментальных повестей является пространственный локус могилы (гробницы) их героев и героинь. Его присутствие в тексте – следствие колоссального сдвига, произошедшего в социокультурном сознании русского образованного общества в конце XVIII – начале XIX вв. Помимо политических и социальных причин он был в немалой степени инициирован воздействием западноевропейской сентименталистской литературы (Ж.-Ж. Руссо, Л. Стерн, И.-В. Гёте). Русские произведения, создававшиеся в духе руссоизма, не только отразили этот сдвиг, но и, в свою очередь, содействовали его упрочению. Главным результатом его стало признание права индивидуума, независимо от его социального положения, на свободу частной жизни, на свободу чувства и поступка. Право это сознавалось как самоценное, независимое от предписаний величественных – религиозных, государственных, сословных норм и догматов. По сравнению с прошлой эпохой (серединой XVIII в.) «личная жизнь каждого частного человека – жизнь сердца – оказалась странным образом важнее обязанностей по отношению к Богу, царю и даже отечеству!» (Гордин, 2002, 10). Человек как частное лицо становился мерой всех вещей, а чувствования его сердца – критерием их оценки. Главнейшим из всех сердечных чувств признавалось чувство любви как самое естественное, истинное и сильное. Высокая любовная страсть получила значение едва ли не единственной святыни, смысла человеческого существования, противостоящей обыденной рутине повседневности. Человек любящий стал знаком нового времени, а сила его любовного чувства – своеобразным измерением его личности.

Эти новые представления наиболее полно воплотил в себе жанр русской сентиментальной повести, сюжетно-структурную основу которого в большинстве текстов составляет оппозиция «любовь – смерть». В ней отражается важнейшая философская идея жанра: главной целью и содержанием человеческой жизни

является любовь, а самой страшной катастрофой – смерть любимого человека. Нarrативным средоточием этой оппозиции нередко выступает локус могилы персонажа, предмета любви. Он обладает определённым набором типологических черт, независимо от того, кратким или развёрнутым описанием он представлен. К ним относятся: 1) указание на погребённое лицо; 2) местонахождение могилы; 3) внешний вид могилы и 4) описание настроения и поведения посещающих могилу персонажей. Рассмотрим их в этой последовательности.

Могила (гробница) в сентиментальной повести обычно скрывает прах либо одного из любовников, либо пары влюблённых, похороненных рядом или вместе. Все они – жертвы страстной любви или её объекты, умершие от внезапной болезни или в результате несчастного случая. При этом всегда отмечается их социальное положение, имеющее в сентименталистском дискурсе, как известно, особую значимость. Так, в повести, которую, по всей видимости, можно считать претекстом в изображении могильного локуса героини – «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина (1792) – говорится о могиле крестьянки Лизы, покончившей самоубийством счёты с жизнью после разрыва отношений с любимым ею Эрастом; в повести Г. П. Каменева «Инна» (1804) – о могиле заколовшейся на месте погребения возлюбленного тоже, очевидно, крестьянки Инны (в повести сообщается, что она из ближнего селения, принадлежащего городу, и живёт в бедной хижине); в повести П. Ю. Львова «Даша, деревенская девушка» (1803) – о могиле умершей от тоски после известия о смерти возлюбленного крестьянки Даши; в повести В. В. Измайлова «Ростовское озеро» (1795) описывается гробница Анюты, дочери крестьянки и богатого дворянина, скончавшейся после родов на руках у любимого мужа; в повести Н. П. Милонова «История бедной Марьи» (1805) упоминается могила дочери богатого откупщика Марьи, умершей в горести и бедности после самоубийства своего возлюбленного; в повести П. И. Шаликова «Тёмная роща, или Памятник нежности» (1819) – могила дворянки Нины, ушедшей в мир иной от болезни после того, как она узнала о смерти своего любовника.

Могилы мужских персонажей изображаются реже. Могила дворянина Евгения, умершего от внезапной болезни накануне свадьбы, описана в повести Карамзина «Евгений и Юлия» (1789); гробница разночинца М-ва, покончившего жизнь самоубийством после расставания с возлюбленной по воле её богатого отца, – в

повести А. И. Клушкина «Несчастный М-в» (1793). Но в таких повестях, как «История бедной Марьи» Милонова и «Тёмная роща, или Памятник нежности» Шаликова, при сообщении о кончине возлюбленных главных героинь, Милона и Эраста соответственно, упоминание об их могилах отсутствует. Встречается и промежуточный вариант, как в повести Каменева «Инна», в которой могила Руслана отмечается только как место самоубийства главной героини, без какого-либо описания.

Изображение могил обоих любовников, умерших одновременно или вскорости один за другим, по своему генезису восходит к раннесредневековой рыцарской литературе, прежде всего к сюжету «Тристана и Изольды», и символизирует могущество и всевластие любви, не побеждаемой даже смертью и ей противостоящей. Так, подобно терновнику, выросшему из могилы Тристана и вросшему в могилу Изольды, объединяющим знаком вечной любви в повести Каменева «Софья» (1796) становится *душистый розмарин*, венчающий могилы Ивана и Софьи. Силу любви и её торжество над смертью особенно подчёркивает указание на погребение влюблённых в одной могиле. В повести неизвестного автора «Пламед и Линна» (1807) бренные остатки полюбивших друг друга монаха и монахини, избравших совместную смерть перед угрозой их разлучения, заключают в один гроб, и одна могила скрыла их («Пламед и Линна», 1979, 265).

Могила в сентиментальной повести актуализирует ещё две оппозиции, производные от главной, - «юность – смерть» и «красота – тлен». Смерть влюблённых воспринимается как катастрофическая прежде всего потому, что она была преждевременной и что умершие были прекрасны душой и телом. Авторы повестей постоянно оговаривают юный (в основном у героинь) и молодой (в основном у героев) возраст своих персонажей, нередко приводя количественное его обозначение. Так, 17 лет карамзинской «бедной Лизе»; Софье из одноимённой повести Каменева и «несчастной Лизе», героине повести неизвестного автора (1810) – по 15 лет; 21 год Пламеду из повести «Пламед и Линна»; 22 – Евгению из повести Карамзина «Евгений и Юлия». Возрастная характеристика персонажей имела принципиальное значение, и особенно в отношении героинь, – ею подчёркивалась не только свежесть и особая привлекательность девичьей красоты, но и, что важнее, целомудренная первозданность и, следовательно, истинность любовного чувства. Также постоянно акцентируется красота любовников, физическая и нравственная, что становится лейтмотивом

в их описании. Особенno прекрасной предстаёт юная героиня. Заостряя несовместимость красоты и смерти, Карамзин пишет о кончине «бедной Лизы»: *Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом* (Карамзин, 1979, 106). Прекрасна, как ангел, «деревенская девушка» Даша из повести П. Ю. Львова, к тому же она одарена *нежною душою*; во время её отпевания в церкви *вообще*казалось, что будто лежало во гробе изображение *уснувшей Красоты*, из чистого ярового воска вылитое (Львов, 1979, 63,68). Богиней любви *во образе какой-нибудь альпийской пастушки* кажется красавица Аньюта из «Ростовского озера» В. В. Измайлова (Измайлов, 1979, 151). «Прекрасна, как майское утро», «добродетельная» Инна из повести Каменева (Каменев, 1979, 187). «Милой, прелестной девушкой, каких мало на свете», «с добрым сердцем, прекрасным лицом, ангельскою душою» рисуется в повести Милонова «бедная Марья», окончившая «дни свои» «в цветущей молодости» (Милонов, 1979, 241, 243). Прелестями души и лица обладает «несчастная Лиза» («Несчастная Лиза», 1979, 299).

Прекрасны и герои-мужчины. Так, «несчастный М-в» «имел такую наружность, которая при первом взоре делает сильное впечатление над сердцем, а в продолжение времени заставляет себе удивляться»; «чувствительное и нежное сердце, кроткий нрав» составляли душевые его свойства (Клушин, 1979, 119).

Местоположение могилы в сентиментальной повести может быть как фиксированным, так и нефиксированным. В первом случае оно либо связывается с топосом кладбища, обычно деревенского (которое может быть предполагаемым, как, например, в повести П. Ю. Львова «Даша, деревенская девушка» или в повести «Парамон и Варенька» неизвестного автора), или монастырского («Ростовское озеро» В. В. Измайлова); либо с дорогим для умершего местом, в котором его хоронят по его желанию (в повести Шаликова «Тёмная роща...» умирающая Нина просит похоронить её в роще, в которой проходили её любовные свидания с Эрастом) или по желанию его близких (в повести Каменева «Софья» приёмный отец Софии хоронит её и её возлюбленного в саду при хижине, в которой она жила, *подле розового куста* ею посаженного; в саду, принадлежавшем её любимому Дафнису, погребают добрые соседи и Хлою в повести Карра-Какуэлло-Гуджи «Бедная Хлоя», 1804). Как правило, локализуются могилы влюблённых-самоубийц. Карамзинскую Лизу погребли близ пруда, в котором она утопилась, *под мрачным дубом* (Карамзин, 1979, 106). Героиню повести Каменева бедную злосчастную Инну погребли на

косогоре, обросшем кустарником (Каменев, 1979, 189). Тело М-ва, героя повести Клужина, было предано погребению близ самого того дома, где жил несчастный (Клужин, 1979, 141).

Могила с нефиксированным местоположением встречается реже и обычно является знаком отторжения умершего от своего привычного мира. Так, об умершей в чужом краю в горести, в одиночестве, далеко от родины, от друзей Марье («История бедной Марии» Милонова) сообщается, что место, где она лежит, забыто и презрено (Милонов, 1979, 243). Отсутствие локализации могилы возможно и в обратном случае – отторжения мира от умершего. Покончивших с собой влюблённых монаха и монахиню («Пламед и Линна») люди преследовали … по смерти: память их прокляли, тела лишили погребения. Когда же сердобольные люди их всё же похоронили, никто не хотел сожалеть о Пламеде и Линне, всяк с ужасом бежал от их могилы («Пламед и Линна», 1979, 265). Сообщая, что преданных анафеме любовников долго помнили … в окрестностях, автор повести никак не локализует место их погребения, указывая только, что теперь могила их неизвестна. Повесть кончается поэтическим описанием предполагаемого места их могилы (опять же нелокализованным), выражаяющим авторское отношение к несчастным любовникам: *Может быть, густой камыш растёт над нею, может быть, пушистые вершины тростника колеблются над гробницей несчастных, может быть, вьют на ней гнёзда лебеди и томным голосом воспевают по вечерам песнь надгробную* (там же, 266).

При изображении внешнего вида могилы / гробницы обычно отмечаются крест, памятник, надпись на них, цветы. Крест, атрибутивный знак христианского захоронения, в сентиментальной повести упоминается редко, скорее всего, по причине его обязательности, как нечто само собой разумеющееся – в случае, если почивший не самоубийца. В описании же могил самоубийц и преданных анафеме, как, например, в повести о Пламеде и Линне, он не фигурирует как несовместимый с их тяжким грехом и церковным наказанием – никто не дерзнул поставить на их могиле обычного знака (там же, 265). Интересно, что в «Бедной Лизе» Карамзин всё же отмечает деревянный крест, поставленный на могиле героини. Комментируя это решение автора, В. Н. Топоров пишет: «Что значит этот крест над могилой самоубийцы и это примирение с тем, кто толкнул её на самоубийство? [Имеется в виду последняя фраза карамзинской повести. – И. К.]. Отпущение грехов, прощение, отмену мефистофелевского «Sie ist gerichtet» и услышание некоего голоса свыше (Stimme von

oben) – «Ist gerettet». И это не только о Лизе: Эраст, виновник греховой смерти безгрешной и безвинной Лизы, тоже «ist gerettet», потому что свою вину он искупил, и предварительное «Er ist gerichtet» тем самым отменено» (Топоров, 1995, 203).

Чаще, чем крест, в сентиментальной повести упоминается надгробный памятник (или надгробный камень). Надгробный камень лежит на месте погребения Софьи и Ивана («Софья» Каменева); на могиле Хлои («Бедная Хлоя» Карра-Какуэлло-Гуджи); чёрный мраморный обелиск стоит уныло над прахом Нины («Тёмная роща...» Шаликова); могила Аньюты являет собой невысокую гробницу, из белого мрамора сооружённую («Ростовское озеро» В.В.Измайлова); белый камень лежит на могиле Евгения, затем на ней устанавливают особливый мраморный камень («Евгений и Юлия» Карамзина); на могиле М-ва воздвигнута мавзолея («Несчастный М-в» Клушкина).

Важнейшим элементом сентименталистской гробницы в большинстве повестей является надгробная надпись либо эпитафия в прозе или стихах. Надпись может только упоминаться, как в повести Каменева «Софья», где она, за древностью гробницы, стёрлась: *Беспрестанная сырость стёрла с неё надпись, а протекшие годы загладили шероховатую поверхность* (Каменев, 1979, 176). Но чаще и надписи, и эпитафии приводятся полностью, образуя собой устойчивый компонент нарратива повестей. Авторами этих надписей могут выступать: а) рассказчик-повествователь, б) случайный прохожий / проезжий, поражённый услышанной историей любви, в) любовник (-ца) умершей (-его), г) некто, знавший умершего и его погребавший, д) сам умерший, сочинивший перед смертью автоэпитафию.

Постоянным мотивом этих надгробных текстов является мысль о ранней смерти на заре жизни. Так, она составляет основу эпитафии на смерть Евгения, сочинённой неким проезжим молодым человеком, узнавшим его историю («Евгений и Юлия» Карамзина):

*Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься –
Увял, иссох, опал – и в рай был пренесен*
(Карамзин, 1979, 94).

Этот же мотив, с той же флористической символикой, используется в эпитафии на смерть «несчастной Лизы», умершей на восемнадцатом году жизни («Несчастная Лиза»):

Цветок лилейный распустился,
Поблек, завял и в мгле скрылся...
(«Несчастная Лиза», 1979, 302).

С мотивом преждевременной смерти нередко связывается мысль о несостоявшемся счастье, как, например, в надписи, сделанной рассказчиком на смерть Парамона и Вареньки, которая, по его оговорке, не была вырезана по многим причинам («Парамон и Варенька»):

Их участь райская в сем свете ожидала;
Перун, небес посол, завидуя сему,
Чтоб участь смертных сих других не возмущала,
Пустил калёну в них, смертельную стрелу
[имеется в виду смерть
влюблённых от удара молнии. – И.К.]
(«Парамон и Варенька», 1979, 175).

Устойчив в надгробных надписях и мотив сочувствия к умершим влюблённым, к которому призываются все «чувствительные» прохожие, оказавшиеся около их могилы. Внешними знаками этого сочувствия выступают вздох и слёзы. Так, надпись на могиле «бедной Хлои» гласит: *Прохожий, если ты имеешь чувствительное сердце, вздохни об участии несчастных; они оба умерли за розу!* (Карра-Какуэлло-Гуджи, 1990, 222). На мотиве сочувствия строится автоэпитафия самоубийцы М-ва, золотыми литерами вырезанная на его мавзолее: *Чувствительное, непорочное сердце!* *Пролей слёзы сожаления о несчастном влюблённом самоубийце; снизойди к слабостям его, как человек, прости его преступление.* *Обрати нежный взор к предвечному, помолись об нём <...>* (Клушин, 1979, 141). Концовка автоэпитафии М-ва содержит предупреждение чувствительному сердцу об опасности любви, мотивирующей и как бы смягчающей грех самоубийства героя: *<...> брегись любви! – брегись сего тирана чувств наших! Стрелы его ужасны, раны неисцелимы, терзания ни с чем не сравнены* (там же). Мотив сочувствия включён в содержание второй надписи рассказчика на смерть Парамона и Вареньки, с указанием, что он предпочёл бы этот второй вариант *теперь, когда он научился не роптать на пророчество*:

Чета несчастная! На гроб кто ваши придёт,
Трикратно слёзы он над вами пусть прольёт <...>
(«Парамон и Варенька», 1979, 175).

Этим же мотивом оканчивается эпитафия «несчастной Лизе»: *Итак, чувствительный! пролей слезу нежности – и тебе предстоит вечное блаженство!* («Несчастная Лиза», 1979, 302).

В надгробной надписи, сочинённой любящим мужем, в повести В. В. Измайлова «Ростовское озеро» главным становится восхваляющая оценка почившей любимой женщины, выражаемая превосходной степенью безусловных по своей семантике прилагательных: *Здесь покоится прах любезнейшей, прекраснейшей из женщин!* С этой надписью, чёрными литерами вырезанными на белом мраморе, соседствуют французские слова из Русской «Элоизы», означающие в переводе – *Сия несравненная женщина была матерью, супругою, другом, дочерью равно нежными и, к вечному терзанию моего сердца, была столь же нежною любовницею* (Измайлов, 1979, 147). Наличие на гробнице цитаты из «Новой Элоизы», этой библии русских сентименталистов, мотивируется всем ходом повествования в повести, снабжённой к тому же эпиграфом из Руссо. И автор-повествователь, и рассказчик, молодой человек, поведавший ему историю своей любви, оказываются фанатичными последователями Руссо, стремящимися к моделированию своей жизни по образцу героев знаменитого романа. Для рассказчика его умершая молодая жена была воплощением героини Руссо, которое он искал с той поры, когда его сердце стало желать предмета, достойного любви своей: *Образ новой Элоизы, прекраснейшего из всех существ, когда-либо воображением произведённых, обитал в душе моей и служил мне путеводителем в моём искаении* (там же, 150). Именно французская надпись из Руссо на гробнице Анюты производит в авторе-повествователе, тоже мечтавшем обрести новую Юлию и самому быть вторым Сен-Пре (там же, 144), чувство, которое *ничему нельзя уподобить*, и способствует установлению между ним и рассказчиком полного взаимопонимания.

Значимой частью описания могилы в сентиментальных повестях нередко являются цветы, дань любви и памяти умершим возлюбленным. Своими руками обкладывает могилу «несчастной Лизы» зелёным дёргом, обсаживает разными кусточками и цветами неутешный Арист («Несчастная Лиза», 1979, 302). В первую же весну после кончины Евгения насадила множество благовонных цветов на могиле своего возлюбленного Юлия; будучи орошаемы её слезами,

они распускаются там скорее, нежели в саду и на лугах (Карамзин, 1979, 94). Отмечаются и цветы, высаженные самими героями ещё до своей смерти, в этом случае они становятся символами умерших – так, Софью в повести Каменева хоронят подле розового куста, ею же и посаженного. Используется в повестях и символическая семантика цветка или растения. Так, по поводу розмарина – друга уныния, венчающего гробницу Софьи и Ивана, повествователь, ещё не знающий, кто в ней захоронен, размышляет: *Кто здесь по-коится? <...> Не прах ли какого благодетельного селянина? Или злодей скрылся в мрачную могилу? Нет, нет! Розы, розмарин не могут украшать костей изверга! Горькая полынь – вот венец его!* (Каменев, 1979, 176-177). Интересно, что полынь упомянута и в повести «Парамон и Варенька», но в другом значении – как символ горечи по поводу внезапной и ранней смерти счастливых влюблённых: *<...> десять крат произращала она [весна. – И. К.] над гробом вашим полынь, и я сколько раз видел, как стебли его друг на друга склонялись ...* («Парамон и Варенька», 1979, 172).

В описание сентименталистской гробницы может включаться тихо горящая лампада («Ростовское озеро» В. В. Измайлова), картина, установленная на могиле («Несчастная Лиза»). Последняя, как она изображена в повести, по сути представляет собой замену памятника: она написана на доске масляными красками и укреплена в столбиках на могиле Лизы. Её детальное натуралистическое описание вынесено в сноску к основному тексту повести и состоит из воспроизведения живописного плана с погребальной символикой (*гроб со стоящею над ним урною, пред которойю рыдает богиня меланхолии; на гробе ... вензелевые имена Аристы и Лизы с надписью над ними: Утехою слеза; вверху ... в треугольнике ... крест, по сторонам которогою погашенная свеча и пылающее сердце*) и нескольких надписей на лицевой и обратной стороне картины, в числе которых стихотворная надпись, дата установки картины, имя усопшей, даты её жизни и её протяжённости, эпитафия («Несчастная Лиза», 1979, 302).

Могила в сентиментальной повести, как правило, является источником магнетического притяжения для «чувствительных» персонажей. Она – место проявления их особых эмоций и особого поведения, характеризующихся рядом специальных признаков. К ним относятся частое посещение могилы, пролитие слёз над ней, беседа с прахом умершего человека, насаждение цветов. В наиболее интенсивном виде эти признаки проявляются в поведении близких умершего – его возлюбленного (возлюбленной)

или реже – родителей. Так, возлюбленный «несчастной Лизы», своими руками обустроив её могилу, сей плачевный памятник ... провождал у него все дни свои, а нередко и целые ночи <...> он всегда плакал, ходил вокруг могилы, становился на колени, целовал землю и в рыдании, пропав к зелёному дёрну, оставался долго неподвижным (там же). Подобной «исступлённой чувствительностью» (Карамзин) отмечено и поведение безутешного молодого вдовца у могилы его супруги в повести В. В. Измайлова «Ростовское озеро»: Молодой человек остановился, грудь его сильно поднималась и опускалась. Несколько минут стоял он неподвижен, устремив глаза свои на место, засыпанное землею <...>. Но вдруг зарыдал он <...> бросился на колени пред мраморным пиедесталом и закрыл платком лицо своё, как будто бы хотя удержать чрез то слёзы, которые градом катились из глаз его. «Несчастный» «поминутно прикладывал ... уста свои последним жаром любви горящие» к ледяному мрамору; затем он теряет сознание в жестоком обмороке; когда же он приходит в себя, его снова тянет к праху любимой: В ужасном исступлении он хотел броситься к могиле ... (Измайлов, 1979, 146,147). В обоих текстовых фрагментах аффектированная чувствительность несчастных влюблённых выражается через внешнюю динамику телодвижений (многие из которых совпадают: становился на колени / бросился на колени; целовал землю / прикладывал уста свои к ледяному мрамору), сменяющую неподвижностью (оставался долго неподвижным / жестокий обморок). Исступление эмоционального состояния передаёт и употребление слов рыдание / зарыдал, означающих предельное проявление горя. Схоже и поведение приёмного отца Софьи в повести Каменева – он каждую ночь посещает мирную могилу её и её возлюбленного Ивана и проливает над ней слёзы; подходит к надгробному камню и покрывает его горячими поцелуями (Каменев, 1979, 185, 186).

Посещением могилы и слезами над ней выявляется и чувствительность чужих по отношению к умершему персонажей. В повести Карамзина «Евгений и Юлия» один молодой чувствительный человек, случайно проезжавший через деревню, где умер Евгений, и слышавший печальную повесть о нём, не только посещает его гроб, но и оставляет эпитафию на его могиле. В повести Каменева «Инна» суеверный человек бежит от могилы героини-самоубийцы, сострадательный же кропит её слезой сердечной (Каменев, 1979, 189). Но если чувствительность близкого – знак его высокой любовной страсти или родительской привязанности к умершему, то «сердечные чувствования» постороннего отражают сочувствен-

ное отношение к чужой судьбе, «переживание» её «как личной или непосредственно с нею соотносимой» (Топоров, 1995, 82). В наибольшей мере это раскрывается в эмоциональной реакции автора-нarrатора, который, часто не будучи сам очевидцем излагаемого, оказывается вовлечённым «в нераздельное пространство «событийного» и «нравственного» душевного переживания и соучастия» (там же, 83). Так, автор признаётся, что после похорон Парамона и Вареньки он *несколько раз ... посещал их прах и проливал слёзы, как о родных своих* («Парамон и Варенька», 1979, 174). Часто посещает могилу злосчастной Инны, которой жизнь, исполненная бедствий, и плачевная кончина начертываются в волшебном зеркале его воображения, автор-рассказчик в каменевской повести «Инна» (Каменев, 1979, 187). Готов вместе плакать с сердечным соучастием с молодым вдовцом потрясённый его горем у гробницы любимой жены автор-повествователь в повести В. В. Измайлова «Ростовское озеро». Автор в «Несчастной Лизе» поспешил видеть памятник чувствительности, обустроенный любовником: *Увидев его, почтил горячею слезою и сердечным вздохом прах Лизы, срисовал картину, списал все надписи...* («Несчастная Лиза», 1979, 303). Он же отмечает, что *всякий раз, когда ему случалось ехать мимо, он останавливался у привлекательной могилы, подходил к ней с новым чувством сожаления, смотрел на картину, прочитывал надписи, воображал несчастную судьбу любовников...* (там же, 304). Невозможность же посетить могилу и поплакать над ней вызывает у автора-повествователя горькое сожаление. Так, в повести Милонова «История бедной Марии» автор сетует по поводу смерти героини в чужой земле: *Бедная! Никто не посетит могилы твоей, никто не почтит слезою твоего праха!* (Милонов, 1979, 243).

Сочувствуя судьбе юной жертвы любви, автор-нarrатор нередко сочиняет не только надпись и эпитафию, но и стихи, как, к примеру, повествователь из «Несчастной Лизы» или повествователь из «Бедной Хлои» Карра-Какуэлло-Гуджи. Примечательно, что в обоих случаях отмечается факт спонтанного сочинения стихов, излившихся как бы сами собой из сердца автора-рассказчика. В «Бедной Хлее» автор после услышанной истории о любви Дафниса и Хлои забывает даже о своей милой Анюте: *Я забыл Анюту, забыл всё – вынул карандаш и листок пергаменту; дал свободу своим чувствованиям и, пришедши домой, вот что нашёл я на своём пергаментном листке* (Карра-Какуэлло-Гуджи, 1990, 226). Сочинённые автором-рассказчиком стихи обычно представляют собой лирическое обобщение судьбы умершего. Включаемые,

как правило, в текст повестей, они привносят в него ощутимый элемент поэтизации.

Если для любовника могила / гробница его возлюбленной является в основном местом проявления его неутешных чувств, то для автора-нarrатора она – место сосредоточенной рефлексии. Рассказчик в «Бедной Лизе», после того как Эраст поведал ему свою историю и привёл его к Лизиной могиле, часто сидит у неё *в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха* (Карамзин, 1979, 106). В «Бедной Хлоде» повествователь, случайно наткнувшись на могилу «корткой, милой, юной пастушки», «долго» мечтает, склонясь на надгробный камень, и в воображении представляет себе историю сих двух несчастных (Карра-Какуэлло-Гуджи, 1990, 222). После встречи с девушкой, рассказавшей ему историю любви Хлои, автор *всё был в одном положении, пока стремление чувств его не повергло его в какую-то сладкую меланхолию* (там же, 226). «Задумчивость» и «сладкая» или «корткая» меланхолия – два взаимосвязанных и в то же время разнонаправленных вектора психологического состояния сентименталистского персонажа. «Задумчивость», как это явствует из словоупотребления в «Бедной Лизе», означает размышление по поводу чужой судьбы, сосредоточенную погруженность в неё, медитативное её переживание. «Меланхолия» же, с обычными определяющими её сентименталистскими эпитетами, выражает некое приятное душевное состояние, приносящее эстетическое наслаждение, которое возникает от ощущения полноты «чувствований» своего сердца, его способности чутко воспринимать участь другого.

С могилой / гробницей в сентиментальной повести нередко связывается христианский концепт загробной жизни – любящие друг друга чистой и высокой страстью влюблённые после смерти соединяются навечно. *Единственная отрада осиротевшего мужа Анюты, по его словам, состоит в том, чтобы рыдать над её прахом и молить там [у гробницы. – И. К.] небесного утешителя о вечном ... соединении с ней* (Измайлов, 1979, 157). Автор-рассказчик в повести «Евгений и Юлия» Карамзина убеждён в том, что прах Евгения *покоится в объятиях общей матери нашей, но дух, составлявший истинное существо его, плавает в бесчисленных радостях вечности, ожидая своей любезной, с которой не мог он здесь соединиться вечным союзом* (Карамзин, 1979, 94). Но ещё на земле потерявший свою пару любовник не прекращает общения с ней и остаётся связанным с ней невидимыми узами. Так! – восклицает автор «Несчастной Лизы». – Я верю Карамзину, что в сие время, когда сердце рвётся

к милым усопшим, подымается некоторым образом таинственная завеса вечности: мы чувствуем дыхание бессмертных, осязаем, кажется, эфирное существо их. Живость сих восторгов заставляет нас думать, что они не совсем мечтательны и что смерть не есть совершенный разрыв сердец, которые жили одним чувством. <...> Какие законы не уступят силе любви, когда надобно утешить милого, и что останется нетленного в душе, если в ней любовь исчезает?.. («Несчастная Лиза», 1979, 302-303).

В описании сентименталистской могилы нередки указания на её «древность», порой имеющей относительный характер, как, например, в повести Каменева «Софья»: упоминаемая в ней древняя гробница оказывается не такой уж старой, поскольку жив ещё приёмный отец похороненной в ней героини, который и рассказывает автору историю её жизни и любви. Знаками «древности» могилы предстают обычно её частичное или полное обрушение, стёршаяся или заросшая мохом надпись, покрытый мохом надгробный камень. «Древняя» могила обнаруживается автором-повествователем, как правило, случайно («Бедная Хлоя» Карра-Какуэлло-Гуджи, «Софья» Каменева). Функционально замечание о «древности» могилы актуализирует оппозицию «жизнь преходяща – любовь вечна». Но в основном погребение жертвы любви относится к сравнительно недавнему прошлому, которое живо в памяти участников или очевидцев любовной драмы. Так, смерть «бедной Лизы» произошла *лет за тридцать перед сим* (то есть временем повествования), и её историю рассказал автору её любовник Эраст; *десять крат уже весна посещала высокую могилу* Парамона и Вареньки, и автор-рассказчик, их земляк, будучи ещё в юном возрасте, провожал тела их на могилу; по всем признакам недавно к моменту повествования были похоронены героини «Ростовского озера» В. В. Измайлова и «Несчастной Лизы», и автор узнаёт о них, в первом случае, от мужа, во втором – от хорошо информированного источника; смерть «деревенской девушки» Даши вообще совпадает по времени с пребыванием автора-рассказчика в этой же деревне, его родных местах.

В сентиментальной повести могила / гробница всегда выполняет сюжетную функцию. Упомянутая в начале повествования, она становится поводом к рассказыванию истории любви погребённой в ней любящей души или любовной пары («Софья» и «Инна» Каменева, «Бедная Хлоя» Карра-Какуэлло-Гуджи, «Парамон и Варенька» неизвестного автора, «Ростовское озеро» В. В. Измайлова). В конце повествования она – финальная точка

жизни персонажа и сюжета («Тёмная роща, или Памятник нежности» Шаликова, «Несчастный М-в» Клушина, «Несчастная Лиза» неизвестного автора).

Включение могилы / гробницы в нарративную структуру сентиментальной повести в качестве её активного компонента имело для русской литературы большое значение. Ничего подобного раньше в ней не было. Освоение темы смерти обыкновенного человека, не святого, как в древнерусской агиографии, и не героя, находящегося в конфликтных отношениях с властью либо с государственно-правовыми нормами, как в трагедии XVIII в., открывало возможность (наряду с другими) его дальнейшего художественного постижения как индивидуального характера в реалистических произведениях XIX в.

ЛИТЕРАТУРА

- Гордин М. А., 2002, *Любовные ереси. Из жизни российских рыцарей*. Серия: Былой Петербург. С.-Петербург: Изд-во «Пушкинского фонда».
- Измайлова В. В., 1979, Ростовское озеро. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 144-157.
- Каменев Г. П., 1979, Инна. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 186-189.
- Каменев Г. П., 1979, Софья. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 176-186.
- Карамзин Н. М., 1979, Бедная Лиза. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 94-106.
- Карамзин Н. М., 1979, Евгений и Юлия. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 89-94.
- Карпа-Какуэлло-Гуджи, 1990, Бедная Хлоя. - *Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма*. Москва: Современник, 222-227.
- Клушин А. И., 1979, Несчастный М-в . - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 119-141.
- Львов П. Ю., 1979, Даша, деревенская девушка. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 62-69.
- Мilonov N. P., 1979, История бедной Марьи. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 241-243.
- Несчастная Лиза, 1979. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 299-305.
- Парамон и Варенька, 1979. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 172-175.
- Пламед и Линна, 1979. - *Русская сентиментальная повесть*. Москва: Изд-во Московского университета, 255-266.

Топоров В. Н., 1995, «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию выхода в свет. Москва: Изд. центр Российской государственного гуманитарного университета.

Locus of Grave / Tomb in Russian Sentimental Narrative

Summary

Locus of a grave / tomb of heroes and especially heroines is noticed in the narrative structure of many Russian sentimental narratives of the end of XVII – the beginning of XVIII centuries. All heroes are passionate love victims or they are its objects. The main philological-artistic genre opposition "love-death" is realized in heroes fates.

Such typological features of sentimentalistic grave / tomb as 1) indication to the buried person; 2) location of the grave; 3) image of the grave; 4) emotional feelings and behavior of the people visiting the grave are analyzed in the article on the base of the narratives by N. Karamzin, G. Kamenev, P. Lyvov, V. Izmaylov, P. Shalikov. A. Klushin and other authors.

The appearance of a grave locus as a stable narrative element of sentimental narratives is determined as a direct consequence of the new understanding of a man as a private person which was made up in XVIII – XIX centuries. According to this opinion a person has the right to be free in feelings and actions not depending on religious, state and class regulations. A loving person became a symbol (sign) of this new understanding and love passion became a main goal of humans life. The genre of sentimental narrative reflected these new ideas describing them in the locus of the grave of a hero.

Key words: *russian sentimental narrative, grave / tomb.*

Галина Михайлова

Вильнюсский университет (Литва)
galina.michailova@flf.vu.lt

Шекспировский тезаурус Анны Ахматовой: «Читая «Гамлета»»

Предметом рассмотрения будет небольшое произведение Анны Ахматовой, состоящее из двух восьмистиший, – «Читая «Гамлета»» (1909)¹.

1

У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака...»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, –
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.

2

И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты...»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор...
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.

(Ахматова, 1990, 24)

Заглавие цикла интегрирует две функции: установку на генерирующий стихи текст-источник («Гамлет» У. Шекспира) и указание на характер освоения этого источника (чтение трагедии). Поэтому в дальнейших рассуждениях мы оттолкнемся

¹ Мы относим цикл Ахматовой к 1909 г., следуя принятой в ахматоведении традиции включения цикла в состав сборника «Вечер», несмотря на имеющиеся оговорки относительно датировки цикла (см. Ахматова, 1986, 387–388; Будыко, 1989).

от наличия в сознании Ахматовой как читателя «тезауруса», т.е. ориентационного ментального комплекса (Луковы, 2004), суммирующего ее представления о тех явлениях культуры, которые так или иначе связаны с именем Шекспира, – в нашем случае с трагедией «Гамлет». Взгляд на представленный выше мини-цикл как на поле взаимодействия между смысловой структурой шекспировской трагедии и тезаурусом Ахматовой как «словарем усвоенных текстов» (Толочин, 1996, 61) обусловит обилие отсылок к разнообразным фрагментам русской и европейской культуры к. XIX–нач. XX в. Однако представленные в статье ориентиры не претендуют ни на исчерпывающую полноту, ни на полномасштабную доказуемость, что не в последнюю очередь объясняется тезаурусом автора данной работы.

Итак, название цикла утверждает ту самую «продуктивность смысла» (Ю. Кристева), которая возникает в процессе чтения «Гамлета». Таким образом, с одной стороны, «Читая «Гамлета»» является, так сказать, слепком сознания Ахматовой-читателя, интерпретировавшей трагедию Шекспира. С другой стороны, как писал И.Ф. Анненский в *Предисловии к «Книге отражений»* (1906), «самое чтение поэта есть уже творчество. Поэты пишут не для зеркал и не для стоячих вод» (Анненский, 1979, 5). С этой точки зрения, «Читая «Гамлета»» – самодостаточный художественный текст, где Офелия является одной из форм лирической самоидентификации автора, становление которой происходит в результате мысленного контакта с «ты» (Гамлетом)².

Поэтому мы проанализируем поэтический диптих Ахматовой как результат «тезауруской генерализации» любовной фабулы «Гамлета» в культуре Серебряного века (в пределах последнего десятилетия века XIX и первого десятилетия XX века) и как образчик преломления шекспировского сюжета в процессе создания своего типа лирической героини и своей нарративной модели.

² Здесь выражим несогласие с мнением С.Ю. Артемовой, соотносящей лирическое «я» второго стихотворения цикла с Гамлетом на основании одной лишь аллюзии на реплику шекспировского Гамлета (Артемова, 2006, 134). Представляется, что в обоих стихах цикла лирическое «я» сопоставимо только с Офелией; нам близка точка зрения Ж.Н. Колчиной, отметившей, что у Ахматовой Офелия вписывается в автобиографический миф (представляя собой один из ликов-зеркал лирической героини), «переходящий в ахматовский миф о волевой женщине, противостоящей негармоничному миру» (Колчина, 2007, 16–17). Иными словами, «присвоение» лирическим «я» ахматовского цикла реплики Гамлета может прочитываться как проявление «мужественных» начал ее ранней лирики.

Общеизвестно, насколько интенсивно в европейской (и русской в том числе) культуре рубежа веков перечитывались шекспировские тексты и осваивались их темы и мотивы. Это прочтывание и постижение обладало своей спецификой. Приведем несколько примеров.

В статье «Что такое поэзия?» (1903 г., опубл. в 1911) Анненский заявлял: «Ни одно великое произведение поэзии не остается доказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются как бы вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят Гамлета» (Анненский, 1979, 205). Свою статью «Проблема Гамлета» (вторая «Книга отражений», 1909) Анненский выстроил «на соотношении незыблемо-завершенной ткани трагедии и бесконечной подвижности ее восприятия» (Подольская, 1979, 517), а «Гамлет» для критика-поэта явился «уникальным воплощением необъятной полноты ассоциативных возможностей слова и мысли» (там же). Будущий создатель культурно-исторической теории психики Л. С. Выготский в рукописи 1915-1916 гг. пишет: «Художественное произведение, раз созданное, отрывается от своего создателя; оно не существует без читателя; оно есть только возможность, которую осуществляет читатель» (Выготский, 1987, 252). При этом он ссылается на концепцию своего учителя, адепта «читательской критики» Ю. И. Айхенвальда, автора ряда «этюдов» о Шекспире, написанных в 1908-1910 гг., и на точку зрения литературоведа А. Г. Горнфельда: «Каждый новый читатель “Гамлета” есть как бы его новый автор» (цит. по: Выготский, 1987, 253). Л. Н. Толстой, разрушая шекспировский авторитет, в статье «О Шекспире и о драме» (1906) также постулирует себя как «свободный от внушения читатель» (Толстой 1983, 278). Таким образом, русская «карта перечитывания» (Х. Блум) «Гамлета» в эту эпоху отмечена принципиальной субъективностью.

Читательское отношение к любовному сюжету трагедии Шекспира также имело свои особенности. В русской культуре диапазон оценок Гамлета был широк: от «чувственного и даже втайне сластолюбивого» эгоиста у И. С. Тургенева (Тургенев, 1980, 330) до «приниженного мышлением жизни» скептика, не знающего чувства любви у Л.И. Шестова (Шестов, 1911, 82)³. Восприятие же Офелии не отличалось разнообразием. Думается, что в *Предисловии* к переводу «Гамлета» А. Кронебергом (переиздание ПСС

³ Работа Шестова «Шекспир и его критик Брандес» впервые была издана в 1899 г.

Шекспира в 3-х тт. в 1899 г.) резюмируются точки зрения на шекспировскую героиню, бытующие в сознании читателей и критиков рубежа веков: «...Офелия остается для всякаго очень милымъ существомъ, которое возбуждаетъ къ себѣ невольную жалость, но которое остается мало понятнымъ, и кажется при всей законченности своей, какъ-будто недочерченнымъ» (Гамлетъ, 1899, 143)⁴. Подобная трактовка образа Офелии традиционна и имеет вековую историю⁵. Поэтому нам кажется излишне категоричным утверждение В. В. Каблукова о том, что «поэзия начала XX века применила по отношению к «Гамлету» У. Шекспира... принцип зеркального «переписывания», разворачивая в противоположную сторону образы пьесы» (Каблуков, 2008). В отношении образа Офелии это высказывание справедливо, вероятно, лишь в связи с лирикой М. И. Цветаевой и, отчасти, как увидим ниже, Ахматовой. Используя выражение героя романа Дж. Джойса «Улисс»: «...его <Шекспира> героини, которых играли юноши, это героини юношей, их жизнь, их мысли, их речи – плоды мужского воображения» (Джойс, 1993, 147)⁶, скажем, что обе поэтессы разрушают асимметрию гендерной структуры «Гамлета». Цветаева и Ахматова выступают, если использовать терминологию феминистской критики, в роли «сопротивляющегося читателя» (Цветаева в большей мере), «разворачивая» и «дочерчивая» образ Офелии в соответствии со своей поэтической мифологией, художественным темпераментом и как представители своего пола.

Личностная заинтересованность читателей «Гамлета», предысторией которой являлись шекспировские экзерсисы Белинского, Пушкина, Тургенева и др., инспирирована, конечно, тем, что за шекспировским текстом проступает сущность, более

⁴ Оговорим, что в статье используются тексты переводов «Гамлета», выполненные А.И. Кронебергом (Кронеберг, 1994, 163–322), К.Р. (К.Р., 1994, 323–484), М.Л. Лозинским (Лозинский, 1936, 1–175), М.М. Морозовым (Морозов, 1954, 331–464) и текст трагедии на языке оригинала (Hamlet, 1965).

⁵ Приведем в пример два мнения. В.Г. Белинский в знаменитой статье 1838 г. ««Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» писал, что Офелия – «...существо, которое совершенно чуждо всякой сильной потрясающей страсти, но которое создано для чувства тихого, спокойного, но глубокого...» (Белинский, 1959, 203). И.С. Тургенев в не менее известной речи «Гамлет и Дон-Кихот» (1860) говорил: Офелия – «...существо невинное и ясное до святости» (Тургенев, 1980, 330).

⁶ Отсылка к Джойсу вполне закономерна. Ахматова неоднократно перечитывала «Улисса», а Р.Д. Тименчик, к примеру, подметил полигенетичность стиха «Эльсинорских террас парапет» в «Поэме без героя», усмотрев в них аллюзию не только на «Гамлета», но и на сцену в первой главе «Улисса» (Тименчик, 2005, 670).

глубокая во временном и/или бытийном плане. Блистательная же реализация этой сущности английским драматургом обеспечила бессмертие его трагедии. Что касается Ахматовой, то, обратившись к Шекспиру в молодые годы, она не оставляла его до старости: сначала читала русские переводы, а с 1927 г. – тексты на языке оригинала (Записные книжки, 1996, 667; Лукницкий, 1997, 292, 323–324). Для нас важно то, что она представляла собою акмеистический тип креативного читателя: читала Шекспира «в том смысле, как читает поэт, филологи сказали бы: заниматься Шекспиром» (Найман, 1989, 102)⁷.

В свете вышесказанного и могут быть поняты стихи первой строфы ахматовского цикла: *Принцы только такое всегда говорят, / Но я эту запомнила речь, – / Пусть струится она сто веков подряд / Горностаевой мантией с плеч.* По определению Х. Арендт, «...пока смысл событий жив – а смысл этот может сохраняться в течение очень долгого времени, – “преодоление прошлого” может принять форму вечно повторяющегося рассказывания» (Арендт, 2003, 32). Созданная Ахматовой версия прочтения «Гамлета», онтологизирующая личный экзистенциальный опыт, знаменует собой творческий акт (и письменную объективацию «вспоминающего пересказывания событий») и как введение вечного в настоящее, и как возвращение временного к вечному (в духе известной концепции «вечного возвращения» и/или акмеистического «мирового поэтического текста»). Полагаем, что процитированные выше четыре стиха являются знаком присоединения к традиции восприятия шекспировского «Гамлета» вообще и образа Офелии, в частности, как негленного элемента «мирового поэтического текста» благодаря скрытой в двух последних строках отсылке ко второй строфе знаменитой «Офелии» Артура Рембо, стихи которого Ахматова знала наизусть: *Voici plus de mille ans que la triste Ophélie / Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir; / Voici plus de mille*

⁷ Два факта: по свидетельству А. В. Любимовой, во время болезни в декабре 1948 г. Ахматова прочитала «четыре толстых книги о Шекспире» (цит. по: Черных, 2008, 434); в планах Ахматовой за 1957 г. значится оставшаяся ненаписанной книга, второй раздел которой, “Marginalia”, должен был включать заметки о Шекспире (Записные книжки, 1996, 667).

ans que sa douce folie / Murmure sa romance à la brise du soir (Rimbaud, 1993, 27)⁸.

Иное дело, что в поэтических произведениях русского *fin du siècle*, образы и темы которых восходят к драматической линии «Гамлет – Офелия», «вечность» Офелии обеспечивается, главным образом, экспликацией мотивов, связанных с ее безумием и смертью (песни Офелии, цветы Офелии, утонувшая Офелия). Таковы тексты, к примеру, М. Лохвицкой («Белая нимфа – под вербой печальной...», 1899), А. Блока («Офелия в цветах, в убоге...», «Есть в дикой роще, у оврага...», «Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене...» [все – 1898], «Песня Офелии», 1902), И. Анненского («Ноша жизни светла и легка мне...», 1906), Б. Лившица («Второе закатное рондо» (1909, опубл. в 1912), В. Брюсова («Офелия», 1911), И. Северянина («Сонет» памяти А. Тома, автора оперы «Гамлет», 1912), Б. Пастернака («Уроки английского», 1917), М. Цветаевой («Офелия – Гамлету», «Диалог Гамлета с совестью» [оба – 1923]). Было ли это инспирировано поэтической культурой, в частности, известным «Офелия гибла и пела...» А. И. Фета (из стихотворения 1846 г. в цикле «К Офелии») или тем же Рембо, либо живописной традицией, к примеру, образами обезумевшей или погруженной в воду Офелии на картинах Э. Делакруа, Дж. Э. Миллеса, А. Хьюза, К. Маковского, Д. Г. Россетти, Дж. У. Уотерхауса, О. Редона – предмет отдельного разговора.

Здесь же заметим, что в случае с популярным в России той эпохи французским художником Данте Габриэлем Россетти литературный учитель Ахматовой, Анненский, в цитировавшейся выше статье «Что такое поэзия?», рассуждая о беспрестанном «творении Гамлета», веками влекущем к себе человеческую мысль, отдает пальму первенства Россетти-поэту, но не Россетти-прерафаэлиту: «И если бы даже сам Данте Габриэль Россетти попробовал кистью передать нам Офелию, то неужто, бессильно подпадая ее очарованию, вы бы ни на минуту не оскорбились за ту вечную Офелию, которая может существовать только символически, в бессмертной иллюзии слов?» (Анненский, 1979, 205). Учитывая широту интересов и блестящую эрудицию Анненского, несоль-

⁸ Вот уже более тысячи лет печальная Офелия
Проходит, как белый призрак, по длинной черной реке;
Вот уже более тысячи лет ее кроткое безумие
Шепчет свой романс вечернему ветерку (перевод мой. – Г. М.)

ко смущает сослагательное наклонение в процитированном высказывании, потому что Россетти создал четыре работы по мотивам шекспировского «Гамлета». Два его рисунка под названием «Гамлет и Офелия»⁹ иллюстрируют ситуацию встречи Гамлета и Офелии в первой сцене III акта, т.е. тот сегмент шекспировского текста, реплики из которого стали структурной формантой первой строфы цикла Ахматовой, которая нарушила сложившуюся традицию поэтической интерпретации по преимуществу тех сцен «Гамлета», которые завершают сюжетную линию Офелии. Эти сцены возьмут на себя смыслообразующую функцию в лирике Ахматовой только спустя десятилетия – в цикле 1960-ых гг. «Полночные стихи». В этом же, раннем цикле, только два первых стиха первой строфы цикла, являя собой непрятязательную пейзажную зарисовку, могут быть прочитаны как текст, который содержит ориентиры (*кладбище и река*), указывающие на предстоящую участь Офелии¹⁰. Хотя, безусловно, прав Б. Л. Пастернак, писавший о том, что жестокость Гамлета в разговоре с Офелией звучит как «*заблаговременный реквием*» (Пастернак, 1990, 276).

Опираясь на вышеизложенное, а также на непростой, с точки зрения взаимоотношений Ахматовой и Н. С. Гумилева, биографический контекст мини-цикла, написанного в период между помолвкой и венчанием, с определенной долей вероятности можно предположить, что шекспировская «упоминательная клавиша» (Р. Тименчик) ахматовского лирического диптиха рассчитана и на Россетти-гумилевские цитатные обертона. Подкрепляя этот неочевидный довод¹¹, добавим следующее. Во-первых, Ахматова, судя по всему, имела представление о шекспировских рисунках Россетти: в ахматовском фонде Рукописного отдела РНБ хранится лондонский альбом рисунков Россетти, подаренный Ахматовой Гумилевым в 1906 г. (Рубинчик, 2003). Во-вторых, Гумилев видел

⁹ Мы исключаем акварели Россетти 1864 и 1866 гг. «Первое безумие Офелии» и «Гамлет и Офелия».

¹⁰ В статье Е.А. Козицкой, рассматривающей архетип воды в поэзии Ахматовой, автор указывает на то, что в «Читая “Гамлета”», как и в ряде других стихов Ахматовой, фоновое присутствие воды предупреждает об опасности, грозящей лирическому субъекту или иному персонажу (Козицкая, 1995).

¹¹ В перечне художников, к которым Ахматова испытывала пристрастие (черновик письма А. Ренниту в январе 1963 г.), имени Россетти (как и других прерафаэлитов) нет. Зато упомянут М.А. Врубель, создавший демонизированный образ Гамлета в паре с Офелией на нескольких картинах 1880-х гг. (Записные книжки, 1996, 284).

сходство Ахматовой с акварелью Россетти *“Monna Pomona”*¹². В-третьих, Ахматова полагала, что цикла Гумилева «Беатриче», который открывается стихотворением, написанным в 1906 г. и содержащим отсылки как к картине Россетти *“Beata Beatrix”*, так и к его сонетам, обращен к ней (Стихи и письма, 1986, 198; 210–211). Сразу оговоримся, что в дальнейшем, вплоть до 1963 г., Ахматова не использовала шекспировскую модель «Офелия – Гамлет» для символизации своих любовных отношений с Гумилевым или с кем-либо другим. Этим она отличается от Блока, который, как выразилась Т. М. Родина, «канонизировал» отношения шекспировских героев как зеркало для его взаимоотношений с женой (Родина, 1972, 103).

Обратимся непосредственно к тексту «Читая “Гамлета”». Являясь стихотворным циклом, он прочитывается как целое из двух самостоятельных частей, скрепленных цитатой (...иди в монастырь или замуж за дурака) и реминисценцией (Я люблю тебя, как сорок ласковых сестер) из «Гамлета», т.е. репликами принца из первых сцен III и V актов трагедии в рамках сюжетной линии Гамлет – Офелия. Шекспировский любовный сюжет связывает оба восьмистишия; при этом вторая часть цикла соотносится и со стихотворением А. С. Пушкина «Ты и Вы», точнее – со смыслообразующим началом оппозиции местоимений «ты» и «вы» (см. Каблуков, 2008). К выводам, сделанным В. В. Каблуковым, мы еще вернемся, оттолкнувшись, однако, не от стихотворения Пушкина, а от того же Шекспира.

Прежде всего, процитируем комментарии крупнейшего шекспироведа М. М. Морозова к его прозаическому переводу «Гамлета»: «В современном английском языке, как известно, местоимение второго лица употребляется лишь во множественном числе. Но в эпоху Шекспира еще употреблялось – хотя “вы” уже начало выживать его – местоимение второго лица единственного числа. <...> Переход на “ты” часто выражал какое-либо чувство:

¹² Один из самых интересных собеседников Ахматовой последних лет ее жизни, на записи и письма которого ахматоведы ссылаются как на заслуживающие доверие тексты, Г. В. Глэкин, писал: «... молодой Н. С. Гумилев прислал в Киев, девушки, которая буквально сводила его с ума, ... – Ане Горенко – издание Россетти, потому что ему казалось, что она похожа на “Монну”. Есть что-то неуловимое в облике Анны Андреевны – даже теперь, когда ей 70 лет – что неудержимо сближает ее с героиней картин Россетти. <...> Ахматова и Россетти. Анна Андреевна, междуречиями, обратила мое внимание на то, что в модернизме очень часто повторяется облик женщин Россетти» (Глэкин, 2003).

гнев, возмущение, ласку, мольбу и т. д. Это заставило нас сохранить в нашем переводе число местоимения, буквально следуя подлиннику. Отсюда иногда неизбежно получается некоторая искусственность, поскольку сплошь и рядом и на языке XVI века английское местоимение «вы» скорее соответствовало русскому «ты»» (Морозов, 1954). В переводах трагедии «Гамлет» как А. Кронебергом (1844 г.), так и К.Р. (1899 г.), т.е. тех, которыми, вероятно, и пользовалась Ахматова, Офелия обращается к принцу на вы, он к ней – на ты. В переводе же Морозова переключение Гамлета с вы на ты начинается с реплики *Иди в монастырь*.

Далее: предположим, что лирической героине Ахматовой «запомнилась речь» Гамлета не только относительно будущего Офелии, но и контекст его жестоких и категоричных слов. А этот контекст у Шекспира является собой реплики, чрезвычайно значимые для понимания раздираемого противоречивыми чувствами и самоанализом героя: *Я вас любил когда-то. – Да, милорд, вы заставили меня этому поверить. – Вы не должны были верить мне: ведь сколько ни прививай добродетель к нашему старому стволу, в нас остается примесь греха. Я вас не любил. – Значит, я обманулась. – Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителен, тщеславен. В моем распоряжении большие преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить. К чему таким молодцам, как я, ползать между небом и землей? Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь. Ступай своим путем в монастырь.* <...> – *О, помогите ему, благостные небеса! – Если ты выйдешь замуж, я дам тебе в приданое следующее проклятие: будь ты целомудренна, как лед, чиста, как снег, ты не избежишь клеветы. Ступай в монастырь, ступай. Прощай. Или, уж если ты непременно хочешь выйти замуж, выходи за дурака. Ибо мудрые люди достаточно хорошо знают, каких чудовищ вы из них делаете. В монастырь иди! И поскорей. Прощай. – Силы небесные, исцелите его! – Слыхал я и о вашей живописи: бог вам дал одно лицо, вы себе делаете другое; ваша походка смахивает то на джигу, то на иноходь; вы жеманно произносите слова, даете прозвища божьим созданиям и свое распутство выдаете за наивность. Ну вас, я больше не хочу говорить об этом, это свело меня с ума. Я заявляю, что у нас больше не будет браков. Те, которые уже вступили в брак, будут жить все, кроме одного, а другие пусть остаются в настоящем своем положении. В монастырь ступай! <...> – О, какой благородный ум повержен! <...>*

А я, самая печальная и несчастная из женщин, – я, которая впивала мед его сладкозвучных обетов, теперь вижу, как этот благородный и царственный ум стал подобен некогда сладкозвучным, а теперь треснутым колоколам, которые звучат нестройно и резко для слуха. Эта несравненная внешность, облик цветущей юности погублены безумием. О, как горько мне, видевшей то, что я видела, видеть то, что я вижу! (пер. М. М. Морозова). Отталкиваясь от выше приведенных реплик Гамлете, виднейшие филологи рубежа веков – автор предисловий к отдельным переводам Шекспира (1902–1905) Ф. Ф. Зелинский¹³ и И. Ф. Анненский – сходным образом объясняли отношение принца к Офелии. Зелинский в статье 1904 г. писал: «...Гамлет отдался неотлучной спутнице – меланхолии, после того как он изверился в чистоте своей матери. <...> Грусть Гамлете была неизлечимой: яд, отравивший его жизнь, исходил от матери, а другой матери судьба ему дать не могла» (Зелинский, 1904). Анненский в работе 1907 г. объяснял: «Офелия мучит Гамлете, потому что в глазах его неотступно стоит тень той сальной постели, где тощий Клавдий целует его старую мать. <...> Офелия погибла для Гамлете не оттого, что она безвольная дочь старого шута, не оттого даже, что она живность, которую тот хотел бы продать подороже, а оттого, что брак вообще не может быть прекрасен и что благородная красота девушки должна умирать одинокая, под черным вуалем и при тающем воске церковной свечи» (Анненский, 1979, 168–169).

Ахматова, перевоплощаясь в Офелию и словно повинуясь тому, что «...единственное число личного местоимения часто создает у Шекспира определенную эмоциональную окраску и тем самым освещает отношение лиц друг к другу» (Морозов, 1954), вступает в диалог с оскорблением наследником и мучимым подозрениями возлюбленным на равных, допуская «оговорку»: Я сказала: «Ты...».

Следующие за этим четыре стиха стихотворения (3,4,5 и 6) вместили в себя психологическую реакцию собеседника на новое обращение: от мелькнувшей на лице улыбки (недоверия? радости?) до вспыхнувшего (страстью? надеждой на понимание?)

¹³ Ахматова бывала на публичных лекциях Зелинского, как и на заседаниях «Академии стиха», в работе которой профессор принимал самое активное участие (См.: Черных, 2008, 59, 70). Р. Д. Тименчик предполагает, что методика филологического анализа пушкиноведческих заметок Ахматовой «позволяет предположить влияние исследовательской манеры Ф. Ф. Зелинского», лектора по античной литературе на женских историко-литературных курсов Н. П. Раева, куда Ахматова поступила в начале 1910-х гг. (Тименчик, 1982).

взора. Заключительное высказывание ахматовского стихотворения – узнаваемая неточная цитата (перемена грамматического рода) – реплика Гамлета на могиле Офелии, вложенная в уста лирической героини. Любовная метафора безумца: *Сорок тысяч братьев, соединив всю свою любовь, не могли бы составить сумму моей любви* (пер. М. М. Морозова) утрачивает в стихотворении Ахматовой свою пафосную гиперболическую экспрессию. И в ответ на гамлетовское «фразистое чувство» (И. Тургенев) звучит слово «отрады и утешения» (Л. Шестов): *Я люблю тебя, как сорок / Ласковых сестер*. Предсказуемость этих последних стихов цикла провоцируется характером Офелии, о которой другой современник Ахматовой, один из ведущих европейских литературных критиков Георг Брандес, вступая в полемику с «чувственной» интерпретацией образа Офелии Гете¹⁴, писал: «Она – кроткое, покорное создание без силы сопротивления; это душа, которая любит, но любит без страсти, дающей женщине самостоятельность действия. <...> Она совсем не поняла печали Гамлета по поводу образа действий матери. Она остается свидетельницей его подавленного настроения, не подозревая его причины» (Брандес, 1997. Курсив мой. – Г. М.).

Важна и семантика знаменитого ахматовского отточия, предваряющего ласковое утешение. Многоточие в лирике Ахматовой – эмоционально наполненный знак. В данном случае он, с одной стороны, целомудренно помечает «динамику неназванного» (Л. Гинзбург) – возможное эротическое развитие сюжета «Офелия – Гамлет». С другой – маркирует паузу, необходимую для восприятия совершенно противоположного, не эротического, заключительного высказывания, в котором со всей очевидностью сливаются голоса персонажа (Офелии), лирической героини стихотворения и автора¹⁵. Этот единый голос отвечает на муку телесного существования Гамлета духовным словесным жестом, приобретающим, благодаря сакральной символике числа сорок, семантику совершенной полноты, гармонии¹⁶. Ахматовская Офелия выступает той самой спасительницей, о которой Зелинский писал в связи с поздней трагикомедией Шекспира «Перикл»:

¹⁴ Свои взгляды на трагедию Шекспира и ее персонажей И.В. Гете изложил в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (части 4 и 5).

¹⁵ Подобное «дробление и слияние персонажей и смешение автора с его героями» (Топоров, Цивьян 1990, 428) – один из распространенных приемов акмеистического текста у Ахматовой.

¹⁶ Учтем также и многозначность слова «сестра». Так именуют монашенок в женских монастырях.

«...ее <грусти Перикла> причиной была возлюбленная, излечить ее мог, в союзе со всеисцеляющим временем, другой, более достойный предмет любви. Мы с нетерпением ждем появления этой спасительницы, киренской царевны, доброй и милой, как Офелия, но счастливее ее...» (Зелинский, 1904). Наш вывод в целом совпадает с мнением В. В. Каблукова, со/противопоставившего цикл Ахматовой стихотворению Пушкина: «...у Ахматовой телесная суть мироздания табуирована. Любовь «сестры» – любовь только духовная, пусть и гиперболизированная числительным» (Каблуков, 2008)¹⁷. Сказанное косвенно можно подтвердить записью П. Н. Лукницкого от 1.08.1927: «...Не любит телесности. Телесность – проклятье земли. Проклятье – с первого грехопадения, с Адама и Евы... Телесность всегда груба, усложняет отношения, лишает их простоты, вносит в них ложь, лишает отношения их святости... Чистую, невинную, высокую дружбу портит...» (Лукницкий, 1997, 287)¹⁸.

Но, подобно тому, как Анненский в рамках своего «читательского» критического метода говорит за какого-либо из персонажей того или иного произведения, создает целые «монологи, входящие в состав роли» (Федоров, 1979, 552), Ахматова творит образ Офелии, выражая лирическое «я» «не только через сходство, но и через различие» (Темненко, 2005) с персонажем. В записках об Ахматовой Л. К. Чуковская воспроизводит такой диалог: «У вашей героини существуют разные способы превращать в праздник любую беду, оскорбление, обиду. Ей есть куда отступать... <...> Кто-то сказал ей «Ну что ж, иди в монастырь / Или замуж за дурака» Но и эта речь – эта обида – превращена ею в торжество. <...> Смерть Блока? Горе? Потоки торжества: «А Смоленская нынче именинница» ... – Вы напишете об этом когда-нибудь? – спросила Анна Андреевна неожиданно жалобным голосом» (Чуковская, 1996, 13). «Торжество» лирической героини первой части цикла – в экспликации своего

¹⁷ Оппозиция духовного и телесного коррелирует с аналогичными высказываниями Анненского в его статьях «Драма на дне» (опубл. в «Книге отражений») и «Трагедия Ипполита и Федры» (публ. 1902, 1908 гг.), что зафиксировано Р.Д. Тименчиком при интерпретации стихотворения «В Зазеркалье» (Тименчик 2005, 190,605).

¹⁸ Иное дело, что в рукописи юного Л. Выготского «Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира» (1915-1916), т.е хронологически близкой созданию ахматовского цикла и, скорее всего, отражающей определенные мистические тенденции 1910-х гг. в «прочитывании» «Гамлета», замечено, что «сорок тысяч...» – не риторическая фраза, но маркер «совсем не той, иной, неземной, особенной любви» Гамлета, который любил Офелию «совсем не так, не просто сильнее брата, а иначе» (Выготский 1987, 274. Курсив Выготского).

королевского достоинства, в «горностаевой мантии» на ее плечах (шекспировская же Офелия, напротив, в этой сцене лишается всех надежд на возможное «царственное» супружество). «Торжество» лирического субъекта второй части диптиха – в переходе на «ты», в открытом признании в любви (у Шекспира Офелия более чем сдержанна, следя советам отца и брата).

Выйдя на автопсихологический уровень ахматовского миницикла, можем приоткрыть несколько иные смысловые перспективы рассмотренных выше текстовых сегментов. Так, рассуждая о контексте реплик Гамлета, процитированных Ахматовой, обратим внимание на следующий фрагмент: *Когда ты выйдешь замуж, вот тебе в приданое мое проклятие; будь чиста, как лед, бела, как снег, – ты все-таки не уйдешь от клеветы. Ступай в монастырь* (пер. А. Кронберга. Выделено мной. – Г. М.). В этой реплике Гамлета мы найдем прообраз будущей судьбы автора цикла «Читая «Гамлета»» (через 13 лет будет написано стихотворение «Клевета»). Это ли не пример отмеченного ею самой, в данном случае опосредованного Шекспиром, визионерства?

Подведем некоторые итоги. В разные годы активизировались разные сегменты шекспировского тезауруса Ахматовой – сонетный, макбетовский, kleопатровый и другие¹⁹. В отличие от Блока или Пастернака, сознательная экспликация тем и мотивов «Гамлета» случалась не часто. Возможно, Ахматова осознавала, какого (пушкинского!) качества тексты могут (и должны!) производиться шекспировской трагедией и не вступала на тропу «эфебов» (Х. Блум) Шекспира. В доказательство приведем воспоминание Т. Венцловы: «Чуть позже, в апреле 1964 года, меня к Анне Андреевне привел московский переводчик и подпольный в то время поэт Андрей Сергеев. <...> Андрей Сергеев тогда прочитал ей свои стихи, как бы небольшую драматическую поэму на тему «Гамлета». <...> Ахматова похвалила эти стихи и опять сказала фразу, которая мне запомнилась: «Чаша бывает так полна, что из нее падает пена. Это и есть новые произведения. Вот так случилась у Пушкина «Сцена из Фауста». Такое может случиться и с Гамлетом»» (Анна Ахматова: последние годы, 2001, 80). В пе-

¹⁹ По точному замечанию А. Г. Наймана, относящемуся к чтению Ахматовой Шекспира, «...в разные периоды разные вещи или на разное обращая внимание в одной и той же» (Найман, 1989, 330).

риод 1907-1910 гг., 1940-ого г. (цикла «В сороковом году»)²⁰ и в 1963 г. гамлетовский компонент шекспировского тезауруса Ахматовой актуализировался. В случае с «Читая “Гамлета”» это, вероятно, было связано с личной жизненной ситуацией (отношениями с Н. С. Гумилевым), а также со сведениями, установками, ценностями, предоставленными в распоряжение Ахматовой временем и местом – вхождением в интеллигентскую и художественную элиту России рубежа веков. В иерархии тезауруса комплекса значимой для Ахматовой части элиты (А. Блока, И. Анненского, Вяч. Иванова, Н. Гумилева, М. Кузмина, проф. Ф. Ф. Зелинского) Шекспир занимал высшую ступень, а ниспровержение английского драматурга (случай Л.Н. Толстого) как нельзя лучше иллюстрирует лермонтовское «кумир поверженный – все бог». В этом случае цитирование Шекспира обеспечивало необходимое для молодой поэтессы «корпоративное понимание» (Луков, 2005, 29), особенно в акмеистическом кругу, где, как известно, имя Шекспира, наряду с именами Ф. Рабле, Ф. Вийона и Т. Готье, было «край-угольным камнем» и «стихией высокого напряжения» (Н. Гумилев) созидающегося литературного направления.

Что касается упомянутого выше стихотворного цикла 1963-1965 гг. «Полночные стихи», то он щедро откомментирован исследователями (Р. Тименчиком, А. Найманом, Вл. Мусатовым, Л. Зыковым и др.). Нам представляется весьма точным суждение Р. Д. Тименчика о том, что шекспировская цитата, которая фигурирует в первой строфе первого стихотворения цикла, становится «эмблемой» «Полночных стихов», «сплетая любовь и смерть» (Тименчик, 2005, 178)²¹. С нашей точки зрения, Ахматова последовательно проецирует практически все тексты цикла «Полночные стихи» на темы, сюжеты и образы трагедии «Гамлет». Так, «Предвесенняя элегия» в паре со стихотворением «Зов» представляется нам монологом лирического «я» как Офелии. В связке эти стихотворения воспроизводят любовную линию «Гамлет – Офелия»: его вину перед ней (*Непоравимо виноват / В том, что приблизился ко мне / Хотя бы на одно мгновенье...*); его «обрученность» с той тишиной, т.е. смертью (*Твоя мечта – исчезновенье, / Где смерть*

²⁰ «Гамлетовы» аллюзии в пяти стихотворениях цикла проанализированы Л. Г. Кихней и И. В. Фоменко (Кихней, 1997, гл. 3; Фоменко, 2003, 127-139). См. также: Топоров, 1989, 6-14.

²¹ И. Служевская увидела «стилистику шекспировского куплета» (песни Офелии) в поэтике II главки «Реквиема» (1938) (Служевская, 2008, 54-55).

лишь жертва тишине»²²); его и ее «невстречу» в жизни и «встречу» в смерти-тишине (*Простишись, он щедро остался / Он насмерть остался со мной*)²³. Но это уже тема отдельной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

- Анненский И. Ф., 1979, *Книги отражений*. Москва: Наука.
- Артемова С. Ю., 2006, Гамлетовские «лики» в лирике А.А. Ахматовой и М. И. Цветаевой. - *Лики Марины Цветаевой*. XIII Международная научно-тематическая конференция (9-12 октября 2005 года). Сб. докладов. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 133–137.
- Ахматова А. А., 1986, *Сочинения. В 2-х т.* Москва: Худ.лит. Т. 1.
- Ахматова А. А., 1990, *Сочинения. В 2-х т.* Москва: Правда. Т. 1.
- Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова, 2001, Сост. О. Е. Рубинчик. С.-Петербург: Невский Диалект.
- Арендт Х., 2003, *Люди в темные времена*. Москва: Московская школа политических исследований.
- Белинский В. Г., 1959, «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета: - Белинский В.Г. Эстетика и литературная критика. В 2-х тт. Москва: Гос. изд-во худ. лит. Т. I., 162–252.
- Брандес Г., 1997, *Шекспир. Жизнь и произведения*. Москва: Алгоритм.
- Будыко М. И., 1989, Рассказы Ахматовой. – *Звезда* 6, 70-87.
- Выготский Л. С., 1987, Трагедия о Гамлете, принце Датском, У.Шекспира. - Выготский Л.С. Психология искусства. Москва: Педагогика., 251-291.
- Гамлетъ, 1899. - Полное собр. соч. Вильяма Шекспира в переводе русских писателей. В 3-х тт. С. - Петербург, т. 3, 139–145.
- Глёкин Г. В., 2003, Из писем Г. В. Глёкина к А. А. Ахматовой. - *Звезда* 10, 120–128. - <http://www.akhmatova.org/letters/glekin.htm>
- Джойс Д., 1993, *Улисс*. Москва: Республика.
- Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966), 1996, Москва – Torino: Giulio Einaudi editore.
- Зелинский Ф. Ф., 1904, *Перикль*. - http://az.lib.ru/z/zelinskij_f_f/text_0280oldorfo.shtml

²² Ср. у Шекспира: из монолога и предсмертной реплики Гамлета в Акте 3, сц. 1 и Акте 5, сц. 2 – To die, to sleep; /To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub; /For in that sleep of death what dreams may come / When we have shuffled off this mortal coil, / Must give us pause: there's the respect / That makes calamity of so long life; O, I die, Horatio <...> The rest is silence (В пер. М. Л. Лозинского: Умереть, уснуть – / И только; и сказать, что сном кончашь / Тоску и тысячу природных мук, / Наследье плоти, – как такой развязки / Не жаждать?; Я умираю; <...> Дальше – тишина).

²³ Ср. у Шекспира: неоднократное «Прощай» в разговоре Гамлета с Офелией, когда он решился на мщение и отказался от любви к ней (Акт 3, сц. 1), и развязка трагедии – смерть обоих.

- К. Р., 1994, Трагедия о Гамлете, принце Датском в 5 актах. Пер. К. Р. (Константин Константинович Романов). - Шекспир У. Собр. соч. в 8 т. т. 8: «Гамлет» в русских переводах XIX–XX веков. Москва: Интербук.
- Каблуков В. В., 2008, «Гамлет» Шекспира в метасознании русской лирики первой трети XX века. - Знание. Понимание. Умение, 5 – Филология. - http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/5/Kablukov_Hamlet
- Кихней Л. Г., 1997, Поззия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. Москва: Диалог МГУ.
- Козицкая Е. А., 1995, Архетип «вода» в творчестве А. А. Ахматовой. - Ахматовские чтения. А. Ахматова, Н. Гумилев и русская поэзия начала XX века: Сб. науч. тр. Тверь. - <http://www.akhmatova.org/articles/kozi.htm>
- Колчина Ж. Н., 2007, Художественный мир А. А. Ахматовой: мифопоэтика. Жизнетворчество. Культура. Автограферат диссертации на соискание уч. ст. канд. филологических наук. Иваново.
- Кронеберг А., 1994, Гамлет. Трагедия в 5 актах. Пер. А. Кронеберга. - Шекспир У. Собр. соч. в 8 т. Т. 8: «Гамлет» в русских переводах XIX–XX веков. Москва: Интербук.
- Лозинский М., 1936, Трагедия о Гамлете, принце Датском. Пер. М. Л. Лозинского. - Шекспир В. Полное собр. соч. в 8 т. Москва–Ленинград: Academia. Т. 5.
- Лукницкий П. Н., 1997, *Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой*. Париж – Москва: YMCA-PRESS – Русский путь. Т. II. 1926–1927.
- Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2005, Тезаурус Гамлета. - Шекспировские штудии: Трагедия «Гамлет». Материалы науч. семинара, 23 апреля 2005 г. Москва: Моск. гуманит. ун-т, Ин-т гуманит. исследований, 27–35.
- Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2004, Тезаурусный подход в гуманитарных науках. - Знание. Понимание. Умение 1, 93–100.
- Мандельштам О. Э., 1987, О природе слова. - Мандельштам О. Э. Слово и культура, Москва: Сов. писатель, 55–67.
- Морозов М., 1954, Трагедия о Гамлете, принце датском. Пер. М. М. Морозова. - Морозов М. М. Избранные статьи и переводы. Москва: ГИХЛ. - www.kulichki.com/moshkow/SHAKESPEARE/shks_hamlet9.txt
- Найман А. Г., 1989, Рассказы о Анне Ахматовой. Из книги «Конец первой половины XX века». Москва: Худ. лит.
- Пастернак Б. Л., 1990, Заметки о Шекспире. - Пастернак Б.Л. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. Москва: Искусство, 275–281.
- Подольская И. И., 1979, И.Анненский – критик. - Анненский И. Ф. Книги отражений. Москва: Наука, 501–542.
- Родина Т. М., 1972, Александр Блок и русский театр начала XX века. Москва: Наука.
- Рубинчик О. Е., 2003, Das Ewig-Weibliche в советском аду, *Toronto Slavic Quarterly*. University of Toronto Academic Electronic Journal in Slavic Studies, 5. - <http://www.utoronto.ca/tsq/05/rubinchik05.shtml>

- Служевская И., 2008, *Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы*. Москва: Новое Литературное Обозрение.
- Стихи и письма. Анна Ахматова. Николай Гумилев, 1986, сост. Э. Г. Герштейн, *Новый мир* 9, 196–227.
- Темненко Г. М., 2005, *Лирический герой и миф о поэте (на материале ранней лирики Ахматовой)*. - *Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник*. Симферополь: Крымский Архив, Вып. 3, 127–152. - <http://www.akhmatova.org/articles/temnenko1.htm>
- Тименчик Р. Д., 1982, *Анна Ахматова и Пушкинский Дом*. - *Пушкинский Дом: Статьи. Документы. Библиография*. Ленинград: Наука, 106–118.
- Тименчик Р. Д., 2005, *Анна Ахматова в 1960-е годы*. Москва; Toronto: Водолей Publishers, The University of Toronto.
- Толочин И. В., 1996, *Метафора и интертекст в англоязычной поэзии*. С.-Петербург: Изд-во СПбУ.
- Толстой Л. Н., 1983, О Шекспире и о драме (Критический очерк). - *Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т.*, Москва: Худ. лит. Т.15, 258–314.
- Топоров В. Н., 1989, Об ахматовской нумерологии и менологии. - *Анна Ахматова и русская культура начала XX века. Тезисы конференции*. Москва: Совет по истории мировой культуры АН СССР, Комиссия по комплексному изучению художественного творчества, 6–14.
- Топоров В. Н., Цивьян Т. В., 1990, Нервалианский слой у Ахматовой и Мандельштама (об одном подтексте акмеизма). - *Ново-Басманская*, 19. Москва: Худ. лит., 420–447.
- Тургенев И. С., 1980, Гамлет и Дон-Кихот. - *Тургенев И. С. Полное собр. соч. и писем в 30 т. Соч. в 12 т.* Москва: Наука, т. 5, 330–348.
- Федоров А. В., 1979, Стиль и композиция прозы Анненского. - *Анненский И. Ф. Книги отражений*. Москва: Наука, 543–576.
- Фоменко И. В., 2003, *Введение в практическую поэтику*. Тверь: Лилия Принт.
- Чуковская Л. К., 1996, *Записки об Анне Ахматовой, Нева* 9.
- Черных В. А., 2008, *Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой*. Москва: Индрик.
- Шестов Л. И., 1911, Шекспир и его критик Брандес. - *Шестов Л.И. Собр. соч. в 6 т.*
- С.-Петербург. Т. 1. - <http://www.vehi.net/shestov/Shekspir.html>
- Rimbaud A., 1993, *Poésies*. Bookking International, Paris.
- Shakespeare W., 1965, *The Complete Works of William Shakespeare*. Ed. by W.G.Clark and W.Aldis Wright. Nelson Doubleday, INC Garden City. New York. Vol. 2. P. 597–634.

A. Akhmatova's Shakespeare Thesaurus: "Reading Hamlet" Summary

The ideas and images of the Russian Silver Age played an important role in Akhmatova's growth as a poet. The present paper focuses on the intellectual and art atmosphere at the end of XIX - the beginning of XX century and on the controversy around Hamlet by Shakespeare, in which well-known writers, critics, philosophers and translators, such as L. Tolstoy, G. Brandes, L. Vygotsky, I. Annensky, L. Shestov, F. Zelinsky participated.

The paper considers the ways in which the Shakespeare thesaurus of the *fin de siècle* is reflected in one of Akhmatova's verses relating to her reader's experiences. Poetic cycle "Reading Hamlet" is placed in the context of Shakespearian *loci communes*. The author of this paper examines transformations of the Shakespearean motives, in particular the significant final component of the second part of the cycle. Shifting the focus of Hamlet on the prince's and Ophelia's love plot, Akhmatova presents Ophelia's character, which shift through the two parts of cycle. Parallels are drawn with A. Blok's, M. Tsvetaeva's and A. Rimbaud's poetry and the series of pictorial works on Hamlet of D. G. Rossetti.

Key words – *thesaurus of Russian culture in the Silver Age, Shakespeare, cycle of verses, love plot, character, lyrical subject.*

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КОМПАРАТИВИСТИКА / LITERARY CRITICISM & COMPARATIVE STUDIES

Вида Гудонене

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
vida.g@vpu.lt

Проблема авторства «муравьевской оды» «Бокал заздравный поднимая»...» и ее рецепция в Литве

В истории литературы широкую огласку получили стихи, прочитанные Н. А. Некрасовым 16 апреля 1866 г. в Английском клубе в честь бывшего Виленского генерал-губернатора Михаила Муравьева, главного начальника Северо-Западного края. К этому времени он уже прославился как усмиритель восстания 1830 – 31 годов, как знаток «польской души» во время губернаторства в Гродно, как вешатель «по долгу, по совести», как суровый каратель «клятвопреступников» в Вильнюсе.

Цель данной статьи – на основе мемуаристики и архивных материалов воссоздать историю восприятия «муравьевской оды» в Литве, показать, как эта ода связана с именем Н. А. Некрасова; прояснить личность подлинного «творца» оды И. А. Никотина.

Атмосфера Петербурга того времени талантливо воссоздана К. И. Чуковским в «критическом рассказе» «Поэт и налач»: покушение на Александра II, всплеск патриотических чувств, прославление мнимого спасителя Осипа Ивановича Комиссарова (П. А. Вяземский, А. Н. Майков, Н. А. Некрасов), повальные аресты в Петербурге. Далее: Муравьев снова призван властью в качестве председателя следственной комиссии по делу Каракозова, его речь-клятва с заверением, что он «стар, но ляжет костьюми, чтобы свято исполнить возложенное на него поручение». Массовый психоз, страх, ожидание кары, личная трусость Н.А.Некрасова, попытка спасти себя и «Современник», «неверный звук» лиры, обвинения в ренегатстве и как результат – «покаянные стихи» (см. Чуковский, 1990, II, 5-56).

Однако ни личная драма Некрасова, ни история с текстом панегирика на этом не закончилась. Широкую публику о вечере в Английском клубе оповестили «Московские ведомости» М. Н. Каткова. В двух апрельских номерах (1866, N 83, 84) сооб-

щается об этом событии, приводятся и отдельные стихи из текста панегирика: *виновных не щадить, Вся Россия бьет처럼. С удовлетворением отмечается: «Нельзя не порадоваться такому согласию между взглядами литературных деятелей и потребностями общества». На упреки революционных демократов Некрасов отвечал «покаянными» стихами:*

*Зато кричат безличные: «Ликуем»!
Спеша в объятья к новому рабу
И пригвождая жирным поцелуем
Несчастного к позорному столбу.
«Ликует враг, молчит в недоуменье....»*
(Некрасов, 1981, II, 246)

И, конечно, сам Некрасов этот злополучный панегирик печатать не стал.

В 1866 г. «Виленский вестник», по нашим данным, об этом событии не оповещал, но зато после смерти Некрасова появившаяся в 1885 г. публикация оды П. И. Бартеневым в «Русском архиве» сразу привлекла внимание. Уже забытая история получила новую жизнь в Вильнюсе. «Виленский вестник» (1885 г. 10 июня) полностью перепечатывает рассказ очевидца о «неловкой сцене» чтения стихов Некрасовым Муравьеву и публикует принадлежащий, по мнению Бартенева, никогда не публиковавшийся текст Некрасова «Бокал заздравный поднимая...»

М.Н.Муравьеву

*Бокал заздравный поднимая
Еще раз выпить нам пора
Здоровье миротворца края...
Так много ж лет ему... Ура!
Пускай клеймят тебя позором
Надменный запад и враги;
Ты мщен Руси приговором
Ее ты славу береги!*

*Мятеж прошел, крамола ляжет
В Литве и Жмуди мир взойдет
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг... и вздохнет.*

Вздохнет, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом
Поднять давно решенный спор.

Нет не помогут им усилия
Подземных их крамольных сил
Зри! Над тобой простерши крылья
Парит архангел Михаил!

Вильнюсские почитатели Муравьева на этом не остановились. В честь столетия со дня рождения «устроителя» края (1896 г.) проводится целый ряд мероприятий: открывается музей, где среди прочих экспонатов красовались в толстых переплетенных томах хвалебные, славянофильские статьи Каткова о Муравьеве; его именем названа площадь; ему сооружается памятник в Вильнюсе. «Виленский вестник» подробно освещал все юбилейные приготовления, а «Виленский календарь» за 1899, 1902 г.г. был полностью посвящен Муравьеву. И тут снова не обошлось без имени Некрасова.

Преподаватель истории А. О. Турцевич, возглавлявший публичные чтения при I Виленской гимназии, в статье «Граф М. Н. Муравьев» на пятидесяти страницах расписал его заслуги. Он воспользовался публикацией П. И. Бартенева: без изменений и без кавычек перенес первую часть статьи, а вторую, где говорится о неловкой сцене чтения стихов, убрал как ненужную. А. С. Турцевич счел нужным украсить статью все теми же злополучными стихами: «Бокал заздравный поднимая...» (Виленский календарь, 1899, 252).

В других публикациях говорится о торжествах освящения и открытия памятника Муравьеву. Автор Н. Воронцов-Вельяминов также не обошелся без авторитета Некрасова в оценке деятельности Муравьева и процитировал несколько строк из стихотворения, приписываемого Некрасову: *Задолго еще до окончания работ комитетом назначен был день освящения и открытия памятника, а вместе с тем и прославления заслуг М. Н. Муравьева, этого великого и славного устроителя шести Северо-Западных губерний, которого при жизни еще, во время подвига, поэт Некрасов назвал в своем стихотворении "миротворцем края", предсказав, что, когда "в Литве и Жмуди мир взойдет", тогда даже враги графа Муравьева признают величие его подвига* (Виленский календарь, 1899, 293).

Подобное воспевание заслуг и доблестей Муравьева не могло не затронуть передовую литовскую общественность в 1890-1900-ые годы. На страницах газет (в 1891 г. уже выходило заграницей свыше 10 периодических изданий на литовском языке) появляется множество статей, преисполненных горечи, ненависти и протesta против возвеличивания Муравьева. В 4 номере за 1893 г. газеты «Žemaičių ir Lietuvos aržvalga» автор с негодованием пишет о пожертвованиях на постройку памятника „палачу Литвы“. Далее описывается, как он представляет памятник палачу: Муравьев должен сидеть на пепелище под виселицами. В 1898 г. широкое распространение получила первая листовка Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), где с возмущением говорилось о памятнике Муравьеву-Вешателю. В сатирическом антиклерикальном рассказе Стасиса Матулатиса „Pragaro gelmės“ среди других палачей отведено особое место в аду Муравьеву и бывшему Ковенскому губернатору Клингенбергу, который также прославился в пору кровавой расправы в местечке Кражай.

В газете «Varpas» (1899, N 1) Винцас Кудирка, известный литовский писатель периода национально-освободительного движения пишет о двух памятниках М. Муравьеву и А.Мицкевичу. Первый из них напоминает об унижении и обидах литовцев, второй памятник автор приветствует, ибо это «достойное имя навечно связано с именем Литвы и учит нас, как надо любить Литву».

Волна протesta против Муравьева опосредованным путем отразилась и на оценке личности и творчества Некрасова. Винцас Мицкевичюс-Капсукас, известный революционер, публицист, позже один из организаторов Коммунистической партии Литвы, в статье «Революционное движение в России» пишет о «гадком патриотизме в годы реакции и добавляет, что «таким патриотизмом» загорелись даже некоторые либеральные элементы, даже известный поэт человеческой недоли Некрасов начинает изо всех сил бороться «с предателями своей Родины» («Draugas», 1904, N 2)

Из воспоминаний Ст. Матулатиса, активного деятеля и публициста тех времен, также узнаем, что его симпатии к Некрасову сильно ослабели после того, когда он узнал о панегирике поэта Муравьеву-Вешателю. С. Матулатис учился в Московском университете. Наряду с медицинскими дисциплинами, которые изучал, он много внимания уделял и общественным наукам, серьезно готовился служить своему народу, жадно читал произ-

ведения русских демократов, но особое предпочтение отдавал Некрасову.. В своих воспоминаниях он пишет: особенно любил пламенные поэтические произведения Н. А. Некрасова, такие как «Размышления у парадного подъезда», «Кому живется весело» и др., в которых он выражал горячую любовь к русскому народу, томящемуся под бременем крепостничества. Я был восхищен стихами Некрасова. Даже и сейчас помню волнующие строки, которые так сильно на меня подействовали:

Что ни год – уменьшаются силы, < ... >

Стихотворения Некрасова побуждали меня еще усердней труждаться на благо своего народа, еще горячей бороться за свободу во имя освобождения поверженных и униженных. Но позднее симпатии к Некрасову поубавились: в издаваемом Герценом заграницей журнале «Колокол» мне довелось прочесть заметку, где он осуждает Некрасова за его панегирик Муравьеву-Вешателю, который уничтожил множество людей, боровшихся за свободу и участвовавших в восстании 1863 г. в Литве и Польше (Matulaitis, 1957, 407). В одном из рукописных вариантов воспоминаний Матурайтис пишет о «двуликости» Некрасова и оценивает его еще строже: Русских он жалел и желал им свободы, а палачу людей, боровшихся за свободу Литвы и Польши, панегирики писал (фонд Матурайтиса, 994, 810).

Такое представление о поэте - это результат не только бескомпромиссной критики Герцена, но и хвалебно-одобрительной русскоязычной печати Литвы (в том числе «Виленского вестника» и «Виленского календаря»), которая усиленно пропагандировала только «отступнические стихи» Некрасова, сознательно замалчивая подлинные мотивы написания их (конечно, нигде не упоминалось о том, как тяжелы и мучительны были для поэта минуты раскаяния). Мало того, долгое время не замечали подмены стихотворений, как это произошло с «муравьевской одой». Последняя «ошибка» вызвала особенно болезненную реакцию литовцев и поляков.

Литовскому, да и не только литовскому читателю, не было известно, что стихи, которые уже несколько раз упоминались нами, вообще не принадлежали Некрасову, а написаны чиновником «особой канцелярии» Муравьева И. А. Никотиным, старшим чиновником особых поручений. Но открытие это состоялось лишь благодаря мастеру библиографических разысканий Б. Я. Бухштабу в 1933 году (Бухштаб, 1933, 138-145). До этого панегирик вошел в воспоминания о Некрасове (М., 1911), в стихотворения 1920 г., в полные собрания сочинений Некрасова 1927 г., 1931 г. (правда, К.

И. Чуковский сомневался и поместил их в разделе «Стихотворения, приписываемые Некрасову»).

Кем же был Иван Акимович Никотин? Послужной список: выпускник Московского университета (1846), чиновник в канцелярии московского губернатора, чиновник особых поручений в Калуге, а с 1851 г. штатный чиновник особых поручений при виленском, гродненском и ковенском генерал-губернаторе. В Вильнюсе служил при дипломатичном «врачевателе» генерал-губернаторе В. И. Назимове, позднее был в распоряжении графа М. Н. Муравьева, до конца жизни занимал посты, связанные с отчетами, ревизиями государственным контролем.

В 1886 г. в Вильнюсе издан составленный И. А. Никотиным увесистый двухтомник «Столетний период русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях (1772 – 1872) и законодательство о евреях (1649 – 1876). В этом своде подробно информируется о положении духовенства, дворянства, о законах землевладения на этих территориях. Везде акцентируются имперские интересы. А в 1905 г. (уже после смерти чиновника в 1890 г.) в Санкт-Петербурге увидели свет и его мемуары «Из записок Ивана Акимовича Никотина», где описывается служба Никотина чиновником особых поручений при генерал-губернаторе В. И. Назимове и особенно подробно с историческими экскурсами, живыми картинами, диалогами воспроизводится служба при М. Н. Муравьеве. Уже название говорит, что в этот том вошло не все им написанное. Подлинные рукописи были принесены в дар музею графа М. Н. Муравьева в Вильне дочерьми Никотина и сейчас хранятся в Государственном историческом архиве Литвы.

«Из Записок»... видно, что автор был не такой уж «серой мышью», как представлялось Б. Я. Бухштабу. Это действительно начальстволюбивый, преданный чиновник, услужливый и исполнительный. Этот неплохой аналитик всех событий особую ретивость проявил при Муравьеве. Один год и восемь месяцев Никотин управлял его канцелярией, в которой были все дела по умиротворению края и упрочению в нем поруганного православия и загнанной русской народности (Никотин, 1905, 148). «Империя», «истинно-русский человек», «истинно русская душа», «вполне русская душа»- это ключевые слова в его лексиконе. Когда же речь заходит о мятежниках, то они воспринимаются как «злоумышленники», «безумцы», «крамольные души». Особенно много презрения в оценке поляков, тут акцентируется и особая

коварность и низость польской души. В этой оценке ощущается страх, ибо, по Муравьеву, польская подпольная интрига не дремлет (268) и после подавления восстания.

Естественно, что миссия Муравьева, его твердость, замешанная на грубости и жестокости, проявленная в борьбе за «святое русское дело», Никотиным постоянно оправдывается, берется под защиту. Его записки включают и реконструированные диалоги, монологи, рассуждения графа, что создает не только некоторую иллюзию достоверности, но выдает и главную цель автора – защитить своего начальника, «вполне русского государственного человека».

В одном таком монологе Мураев сравнивает себя с доктором: *Модный, гуманный доктор, жалея больного, у которого в сильной степени заражена кисть руки антоновым огнем, начинает оперировать по суставам, в надежде остановить гангрену. Серьезный же врач ... одним разом отделяет зараженную кисть. Зверь, кровопийца, кричат про него гуманные люди. А чье поведение гуманнее? (295)*

Таким образом, каюя «клятвопреступников», Муравьев, а иже с ним и Никотин, вычеркивали слова человеколюбие, гуманность, милосердие, оставляя их «говорунам», «гуманным европейским обезьянам» (267). В ответ на реплику: «Что скажет Европа?»

- А пускай она болтает, что захочет, - ответил Михаил Николаевич, - нам, русским, большие чести, когда Европа нас ругает, это верный признак, что мы идем к цели верным историческим путем. Вот от европейских похвал нам наверное не поздоровится (265).

После этих слов Николай Акимович обратился к Муравьеву с экспромтом:

Пускай клеймят тебя позором –
Презренный Запад и враги,
Ты мощен Руси приговором,
Царя ты славу береги....
<...>

Здесь все достоверно: и любовь к «незабвенному начальнику», который передает губернаторство в Вильне К. П. Кауфману, и уверенность, что «литовская Русь» подчинится «добрейшему народу», и даже появляющийся в заключительных строках оды Архангел Михаил: он действительно висел в углу столовой и виден был из гостиной (266).

Никотин слукавил назвав стихи экспромтом, тут все ироду-мано, и даже ситуация воссоздана как нельзя лучше: Муравьев уверен, что будет полезнее для дела в Петербурге, чем в Вильне,

ведь там оно твердо поставлено, нужно только неукоснительно продолжать его (265). На этой странице записок есть скромная сноска, видно приписанная позже: *К крайнему моему удивлению прочел в «Новом времени», что этот экспромт, слитый воедино с сказанным два года перед тем в Вильне за обедом <...> приписывается поэту Некрасову, которого даже заподозрили в ложности чувств <...> за достоинство моих стихов я не стою, но за искренность «высказанных в них чувств – смею ручаться....(255)*. Скромность Никотина уместна. В его записках текст оды воспроизводится по памяти; налицо ритмический сбой, прозаизация стиха. В бартеневской версии – четкое строфическое деление, устраниены сбои в ритмическом рисунке, расставлены знаки препинания, уточнена топонимика: вместо в «Литовской Руси мир взойдет» написано «В Литве и Жмуди мир взойдет». Именно эта «улучшенная» версия тиражировалась как некрасовская.

Далее в «Записках...» описывается сцена, во всех деталях контрастирующая с ситуацией чтения злополучных стихов Некрасовым: *граф похвалил стихи, поцеловал автора и даже пожелал иметь на память*. Как известно, в случае с Некрасовым, Муравьев даже не повернулся к поэту, вместо благодарности окинул его прозрительным взглядом, не советовал их печатать. Никотин ушел счастливый, обласканный, Некрасов – оплеванный, сопровождаемый брезгливыми взглядами всех (Чуковский, 1990, II, 10) и мучившийся до конца жизни за такое проявление слабости, трусости и либерального угодничества.

*Не торговал я лирой, но бывало,
когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука....*

(Некрасов, 1982, III, 40)

Итак, экспромт Никотина, именуемый как «приветствие» гр. М. Н. Муравьеву (А. М. Герцен), стихотворный привет, «дифирамбы» (К. Чуковский), «хвалебная ода», «панегирик», «стихи на случай» (Б. Бухштаб), а чаще всего «муравьевская ода», действительно вынашивалась в Вильнюсе. Здесь впервые как застольный тост была произнесена первая строфа, а весь текст оды вошел в другой вильнюсский текст «Из записок Ивана Акимовича Никотина», хотя до этого авторство удивительным способом связалось с именем Некрасова, что и породило критическое отношение к личности поэта в Литве.

ЛИТЕРАТУРА

- Бухштаб Б. Я., 1933, *О тексте «Муравьевской оды» Некрасова. - Каторга и ссылка, N 12.*
- Matulaitis S., 1957, *Atsiminimai ir kitis kūrinių*, Vilnius.
- Matulaitis S., Фонд 997 а в Рукописном отделе научной библиотеки Вильнюсского университета.
- Некрасов Н. А., 1981, Полное собрание сочинений в 10 т., 1981, т. 2, 1989, т. 3, Ленинград: Наука.
- Чуковский К. И., 1990, *Критические рассказы в 2 т., т.2.* Москва: Издательство «Правда».
- Никотин И. А., 1905, *Из записок Ивана Акимовича Никотина.* Санкт-Петербург. В тексте цитируем по этому изданию, указывая страницу в тексте.

The Problem of the Authorship of the Ode to M. Muravjov “Бокал заздравный поднимая...” and its Perception in Lithuania Summary

The article reconstructs the history of writing the Ode to M. Muravjov-Vilneskij. The reconstruction is based on periodicals, memoirs, and archive materials of that time. N. Nekrasov did read panegyric poems to M. Muravjov. However, he did not publish them and regretted about it very much. The posthumous publication of the Ode in "Russian Archive" (1885) related the name of N. Nekrasov to the Ode to M. Muravjov for a long time. The article speaks not only about the authorship of the Ode, but also presents critical responses from Lithuania concerning N. Nekrasov.

Moreover, the article sheds light on I. Nikotin's personality, his commitment to M. Muravjov and I. Nikotin's constant desire to vindicate M. Muravjov's cruelties and repressions against the participants of the rebellion of 1863. I. Nikotin's panegyric text totally resembles Russian empire moral in terms of lexis, panegyric and laudatory intonation, and other issues related to the repression of the rebellion of 1863.

Key words: N. Nekrasov, I. Nikotin, M. Muravjov, panegyric ode, authorship, the rebellion of 1863.

Федор Федоров

Даугавпилсский университет (Латвия)
fedor.fedorov@gmail.com.

Швейцарские томления поздней ледниковой эпохи

Разговор, начатый мной по чистой случайности, – это некое приближение к теме, которая как тема не вполне понятна, потому что не вполне понятно, что такое Швейцария, не Швейцария как государство, как территория, как демографическое образование, как экономическая институция, как этическая парадигма, а как перцептивное пространство, как образ, потому что образ глубоко субъективен, продиктован жизненным, духовным опытом реципиента, а сто реципиентов имеют сто образов, и в этом калейдоскопе взаимоисключаемостей Швейцария как перцептивное пространство никогда не обретет даже мерцательных границ. Впрочем, то, что я говорю сейчас о Швейцарии, в равной степени относится и к любому другому образованию – к Литве, например, или к Польше, Франции... Макс Фриш писал в своем первом дневнике – «Дневнике 1946-1949»: *Вот что важно: неизреченное – пустота между словами, а слова всегда говорят о второстепенном, о чем мы, собственно, и не думаем. Наше истинное желание в лучшем случае поддается лишь описанию, а это дословно означает: писать вокруг да около. Окружать. Давать показания, которые никогда не выражают нашего истинного переживания, остающегося неизреченным; они могут лишь обозначить его границы, максимально близкие и точные, и истинное, неизреченное выступает в лучшем случае в виде напряжения между этими высказываниями* (Фриш, 1987, 129). Макс Фриш говорит о писательстве, но писательство – это воплощение писательского образа мира, писательской рецепции; и в этом смысле неписательская попытка *наткнуть на палец*, как говорил князь Вяземский, что-либо вне нас существующее подобна попытке писателя, скажем, Макса Фриша, которая сводима к тому, чтобы *писать вокруг да около*. Между тем свести к формуле, к сентенции, к парадигме разного рода ареалы, будь то Швейцария, Латвия или Россия, влечут с магической силой, и тогда появляется, например, *святая Русь* или контроверза: *немытая Россия*, или: *да скифы мы, да азиаты мы*. Это говорят о себе русские, что простительно и даже похвально, о себе в сердцах

можно говорить все, что угодно; я не говорю о том, что говорят о России иностранцы; конечно, большое видится на расстоянии, но расстояние столь же часто деформирует зрение, как и близъ.

У Ильи Эренбурга есть блестательная книга – «Французские тетради». Заканчивая монолог о французской культуре, Эренбург пишет: *Из французских рек я больше всего люблю Луару. <...> Туристы обычно ездят на Луару, чтобы полюбоваться замками эпохи Возрождения – Шамбор, Шенонсо, Амбуаз, Блуа. <...> Меня Луара привлекает другим – своим течением, то порывистым, то плавным, островками, появляющимися и пропадающими, старыми деревьями на берегах, которые стоят, как часовые, кое-где холмами с голубями от серы виноградниками, кое-где изумрудными пастбищами с пятистыми коровами, маленькими городками с извилистыми узкими улицами, с колокольнями, на которых прокричали свои голоса галльские петушки. Луара не судоходна. Она прекрасна, но влюбленные в нее жители Турэни или Анжу смотрят на нее с опаской: эта река внезапно разливается, затопляя островки, села и города. В такие дни она кажется морем, и вдруг она снова уходит под землю, лениво отражая башню или ольху. Она сродни Франции, ее истории, будущему* (Эренбург, 1958, 59). Луара для Эренбурга – это и есть Франция, это символ Франции, но символ, сотканный из мельчайших реальностей, которые продиктованы переживанием французской природы, французской культуры, французской истории. Говоря словами Дю Белле, Луара для Эренбурга – Франции единственное небо. Впрочем, Франции единственное небо для Дю Белле слагается из трех компонентов: *Моя Луара, мой убогий дом, / И дым над крышей в небе голубом* (перевод И. Эренбурга; Эренбург, 1958, 114). В сущности, триада Дю Белле – это тоже *вокруг да около*, но это *вокруг да около* о Франции говорит гораздо полнее и глубже, чем какая-либо определенность, типа страны лягушатников или страны рационалистов, или... т.д. О стране или народе больше, чем многостраничное описание, может сказать какая-либо мелодия, например, флейты или волынки, или орган, или еврейская идишская песенка. Н.М.Карамзин писал: *Говорят, будто в Швейцарии вообще больше едят, нежели в других землях...; в трактирах никогда не подают на стол менее семи или осьми хорошо приготовленных блюд, и потом десерт на четырех или на пяти тарелках»; и «принисывают это действию здешнего острого воздуха* (Карамзин, 1987, 119, 120, 119).

Я много раз был в Израиле, но если бы у меня спросили, что такое Израиль, то в числе 8-10 констант моего Израиля непремен-

но были бы: свет Галилеи, потому что восхождение к Галилее в любое время года – это восхождение к свету, погружение в свет, и это свет такой интенсивности, что он представляется Светом Незаходимым; это утро над Иерусалимом, когда сначала на горизонте появляется мерцающая светлая, но четко проведенная горизонтальная полоса, потом она становится бирюзовой, потом яркого света, который стремительно захватывает небо; это маслята в рукотворных сосновых лесах, покрывающих Иудейские горы, под теплым декабрьским дождем – экзотическое свидетельство российской алии.

И все же прежде чем обратиться к Швейцарии, я должен сказать о Советском Союзе. До 1956 г. Советский Союз был абсолютно закрытой страной, страной неизрочаемых границ, как нынешняя Северная Корея. Советская идеологическая доктрина рассматривала мир как *двоемирье* гофмановского типа: один из миров был миром абсолютного зла, т.е. неравенства, насилия, агрессии, несвободы, духовного маразма и т.д.; другой мир – с противоположным знаком: свободы, равенства, братства, высокой духовности, всеобщего благоденствия, и это – мир добра; один – мир тьмы, другой – мир света. Не уверен, что поколение, которому сейчас 30, помнит широко бытовавший термин *лагерь*; был социалистический лагерь и был противостоящий ему империалистический лагерь; термин имел военно-идеологический смысл; а еще были пионерские лагеря, лагеря отдыха. Но от всех *лагерей* осталось, пожалуй, единственное коннотационное поле: концентрационный лагерь, архипелаг ГУЛАГ, как сказал Солженицын. Социалистический лагерь – это социум единой идеологии, единого (оптимистического) мироощущения, единой системы ценностей и т.д.; это социум иерархического строя, в котором есть высшая структура – партия, тоже иерархически организованная, и структура низовая – это беспартийные, но практически все беспартийные проходили школу идеологических строевых институций – октябрья, пионеры, комсомольцы. Строевой, военизированный характер социума определял неизбежность униформы – одного типа одежда, обувь, прически и т.д. Когда после 1956 г. молодые люди надели узкие брюки, разноцветные рубашки и ботинки на толстой подошве, да еще в клеточку, отрастили длинные волосы, их окрестили *стилягами* и сделали предметом публичных порок. Когда оттепель уже давно захлебнулась, вдруг опомнились и молодых людей за длинные волосы лишили стипендии. Идеология в качестве основной зада-

чи имела создание положительного образа социалистического лагеря, утверждение Советского Союза как родины прогрессивного человечества. Как писал поэт:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.*

(Лебедев-Кумач 1954, 381-382)

1956 год, начальная веха оттепели, в качестве знака нового времени, преподнес факт исторического масштаба – *проходимость* границы, конечно, весьма и весьма относительную. Первой пробной акцией явилось плаванье на теплоходе «Победа» осенью 1956 года представителей творческой интеллигенции – вокруг Европы с заходом в Стамбул, в греческие, итальянские, французские, скандинавские порты, с поездками в Афины, Рим, Париж. С Запада началось движение литературы, художественных выставок, кинофильмов, мод, идей, началось проветривание и обновление советской жизни.

Знаковым событием стал кинофильм Михаила Ромма «Десять дней одного года», вышедший на экраны в 1961 г. Главными героями фильма являются молодые физики Дмитрий Гусев, которого играл Алексей Баталов, и Илья Куликов, которого играл Иннокентий Смоктуновский. Гусев – это тип канонизированного положительного героя, восходящий к Павлу Корчагину, суть которого самоотверженное, самозабвенное служение делу, необходному стране. Илья Куликов – это тип героя оттепельной эпохи с его иронией, терпимостью, раскованностью. Тем не менее существенно, что авторы фильма пальму первенства отдают Гусеву, побуждая Куликова и всех, в том числе зрителей, склониться перед его героическим самопожертвованием во имя родины.

Важнейшим мифообразом, культурным символом оттепельной эпохи был Эрнест Хемингуэй, его лиро-героическая проза с ее трагическим жизнелюбием, с ее подтекстом, с ее потоком сознания; она стала моделью молодой оттепельной прозы. Проза Хемингуэя воплотилась в его портрете, наличие которого в доме долгое время являлось знаком принадлежности этого дома к оттепели. Хемингуэй с его бородой, с его трубкой, с его свитером грубой вязки, с его сильным и уставшим лицом был символом естественного человека. Молодые люди отрастили бороды, стали

пить кальвадос, носить свитеры, курить трубку, ходить из кафе в кафе, произносить речи с подтекстом.

Оттепель рухнула в 1964 г., это вторая ее граница; и сразу же начались заморозки. В декабре лидер московской парторганизации на партийном форуме отреагировал вмгновенно: публикация «Одного дня Ивана Денисовича» была грубой идеологической ошибкой. В «Краткой литературной энциклопедии» о погибших в лагерях и застенках стали писать: *умер*. Советский Союз скатывается в борьбу с оттепельным синдромом, с инакомыслием, в непрерывные попытки реанимации сталинщины, в застой, и т.д.

И тогда наступает время Швейцарии. Швейцарию в советском культурном сознании с конца 1960-х годов и до перестройки, т.е. до середины 1980-х годов, представляют Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт; они не оформляются в культурные символы, подобно Хемингуэю, но они достаточно остро выражают постоттепельное мирочувствование.

Что же означал для постоттепельного социума швейцарский текст Фриша и Дюрренматта? Это прежде всего переосмысление фундаментальных ценностей жизни, начиная с такой мифологизированной ценности как родина. Надо сказать, что первым и весьма острым импульсом к демифологизации родины были все те же «Французские тетради» Эренбурга, вышедшие в свет в 1958 г. Эренбург процитировал мысль Монтескье, которая явилась предметом необычайно интенсивного переживания и осмыслиения. Итак, Монтескье: *Нужно быть правдивым во всем, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан умереть за свою родину, но никого нельзя обязать лгать во имя родины* (Эренбург, 1958, 10). Слова Монтескье, процитированные Эренбургом, были тем более актуальны, что Советский Союз только что пережил эпоху борьбы с космополитизмом, в пространство которого была включена и компаративистика как инструмент проникновения в Советский Союз космополитического змия. Борьба с космополитизмом означала, в сущности, утверждение великорусского шовинизма в качестве господствующей идеологической доктрины. Оттепель откорректировала, но не отменила сталинскую концепцию, выдвинув идею единой советской нации, советской общности; национальное было слито с идеологическим. Советский Союз – пространство единой нации, нации, объединенной в нацию идеологической советской парадигмой.

Едва ли не все творчество Макса Фриша, но особенно его исповедальные жанры – Дневники, речи, статьи, – это непрерывный поток размышлений о Швейцарии и Швейцарии как родине.

В «Дневнике 1966-1971» Фриш пишет: *В самом деле: иностранцы, живущие в Швейцарии, относятся к ней лучше, чем наш брат. Они воздерживаются от всякой фундаментальной критики; наша же критика им скорее неприятна, они хотели бы быть в стороне от этого. Что, кроме швейцарской банковской тайны, их привлекает? Видимо, все же многое: ландшафты, центральное местоположение в Европе, чистота, стабильность валюты, в меньшей степени – порода людей (тут они при случае выдают себя набором уничижительных клише), но главным образом своего рода освобождение: здесь достаточно держать в порядке деньги и бумаги и не мечтать о каких-либо изменениях. Если их не беспокоит полиция, Швейцария для иностранца не тема. Они наслаждаются чувством комфорта, которое порождено отсутствием истории* (Фриш, 1987, 173). Это – Швейцария глазами иностранцев, и этот образ Швейцарии, фиксируемый Фришем, достаточно широко распространен.

Но гораздо важнее взгляд изнутри, восприятие Швейцарии – швейцарцем, тем же Фришем. И об этом – один из самых замечательных, самых важных текстов Фриша – его публичная речь, произнесенная в 1974 г. и тогда же напечатанная, – *Швейцария как родина?* Речь Фриша – это поток размышлений о том, что есть родина и является ли родиной Швейцария.

Что же входит в понятие родины? – размышляет Макс Фриш. Место рождения как родина. Ландшафт как родина. Язык, наречие как родина. Есть тезисы и есть контртезисы. Встречаются люди, которые не говорят на нашем диалекте и тем не менее принадлежат нашей родине... (Фриш, 1981, 263). Национальная история как родина. Национальная кухня. Друзья. Территория.

Может ли быть родиной идеология?

(Но тогда ее можно было бы выбирать).

И как соотносится все это с любовью к родине? Если ты любишь родину, значит ли это, что она у тебя одна? Я только задаю вопрос. А если она не любит тебя, значит ли это, что у тебя нет родины? Что должен я делать, чтоб обрести родину, и, главное, чего я не должен делать? (Фриш, 1987, 263).

И далее: *Потребность в родине несомненна, и, хотя я не могу четко, без оговорок, определить, какой смысл вкладываю в это понятие, я без заминки скажу: у меня есть родина, я не гражданин*

мира и я рад, что она у меня есть, – но смогу ли я подтвердить, что это – Швейцария? .

Родину не выбирают.

И все-таки я медлю провозгласить, что моя родина – Швейцария. Ведь каждый, произнося «Швейцария», представляет себе что-то свое. В нашей конституции не записано, у кого есть право определять, что по-швейцарски и что не по-швейцарски (Фриш, 1987, 265).

Наконец, чрезвычайно важные финальные построения Фриша.

РОДИНА:

если родина является округом, где мы, будучи детьми, школьниками, получаем первые впечатления от окружающей среды, природной и социальной, если родина является краем, где мы благодаря неосознанному приспособлению (в юные годы нередко до полной потери себя) поддаемся иллюзии, будто здесь, в этих местах, мы не чужие, тогда родина – это проблема идентичности, дилемма между одиночеством там, где суждено было нам родиться, и потерей себя в силу приспособленчества. Последнее (у подавляющего большинства) требует внутренней компенсации. Чем меньше я в результате приспособления к окружающей среде понимаю, кто я есть на самом деле, тем чаще буду я повторять: я швейцарец, мы швейцарцы, тем больше будет у меня потребность казаться в глазах большинства настоящим швейцарцем. Идентификация себя с большинством, состоящим из тех, кто сумел приспособиться (своего рода компенсация за упущенную или утраченную под давлением окружающего общества идентичность), составляет обычно основу шовинизма. Шовинизм есть прямая противоположность самосознанию личности. Примитивным проявлением страха оказаться вдруг чужим в собственном мире является враждебность к иностранцам, которую так охотно принимают за патриотизм – другое слово, пришедшее с недавних времен в упадок... (266).

...масса приспособившихся не имеет родины, есть лишь государственное учреждение, осененное флагом, оно выдает себя за родину и подкрепляет это военной, и любой другой силой (Фирш, 1987, 266).

Так мог говорить подлинно свободный и подлинно честный человек, так мог говорить истинный патриот, написал и вздрогнул: древнее прекрасное слово действительно пришло в упадок.

И последний фрагмент из Фриша:

Если же я все-таки отважусь связать свою наивную жажду родины с государственной принадлежностью, то есть сказать: Я – ШВЕЙЦАРЕЦ (не просто обладатель швейцарского паспорта,

не просто родившийся на швейцарской территории, но швейцарец по убеждению), тогда я уже в любом случае, произнося слово "родина", не смогу удовлетвориться одной только родной деревушкой и озером Грайген, дворовыми липами и диалектом, даже Готфридом Келлером; тогда к ощущению родины примешивается еще и стыд, стыд за швейцарскую политику по отношению к политическим беженцам в годы второй мировой войны, стыд за все, что происходит или не происходит у нас в наше время. Я знаю, такое представление о родине не соответствует образцам <...>, но это мое представление. Родину не определяют по чувству комфорта. Кто произносит РОДИНА, тот берет на себя многое (Фирш, 1987, 267).

В «Дневнике 1966-1971» есть замечательный «Опросный лист» о родине, состоящий из 25 пунктов, последний из которых я процитирую: *Из чего Вы заключаете, что звери, например, газели, гиппопотамы, медведи, пингвины, тигры, шимпанзе и т.д., вырастающие в вольерах или заповедниках, не воспринимают зоопарк как родину?* (215).

В том же «Дневнике 1966-1971» одно структурное образование называется допросом. Макс Фриш в своих сочинениях действительно допрашивает себя, допрашивает современников, допрашивает свою страну, допрашивает родину.

Макс Фриш не отвергает понятие родины, но в противовес мифу о родине как об исконной и абсолютной ценности, не подлежащей осмыслинию, он подвергает понятие родины всестороннему анализу, т.е. демифологизации. Фриш против мифа во имя истины и человека.

Урок Макса Фриша был преподан не только Швейцарии, но и Советскому Союзу. И этот урок был воспринят как швейцарский урок, швейцарский текст, который определял в то время образ Швейцарии. И этот урок о родине распространялся на все мифы.

Швейцарский урок Макса Фриша определил швейцарское томление посттотального советского социума.

И второй швейцарский урок Макса Фрича и Фридриха Дюрренматта, о котором скажу кратко. Оттепель – это внутреннее освобождение человека, путь человека к себе самому, к идентичности. Это существенным образом изменяет искусство, в частности, литературу, которая от соцреалистической эпохи уходит в пространство я, в пространство такой нематериалистической субстанции, как душа, что на первый план выдвигает лирику. Голос оттепели – голос лирической поэзии. Лирика определяет и струк-

туру оттепельной прозы как прозы *Ich-Erzählung*. Высшая этическая ценность оттепели – это искренность, честность. «Хочу быть честным» – называет Владимир Войнович свою первую повесть, опубликованную в 1962 г., в которой герой, прораб Самохин, в один прекрасный день решает жить не по лжи. Одна из значительнейших метаморфоз оттепели – превращение человека внешнего в человека внутреннего, и знаком и одновременно инструментом этого превращения становится самоирония.

Катастрофа оттепели существенно меняет мироощущение советского социума. Человек, который открыл себя, который захотел жить не по лжи, в котором пробудилось исповедальное начало, говоря словами Фриша, неизбежно утрачивает идентичность – во имя неизбежного в условиях тоталитарного режима приспособления. Человек надевает маску. Социум застоя – это социум масок, социум беспрецедентного по своему масштабу маскарада, маскарада в 1/6 часть суши. Человек социалистической веры, отказавшийся от нее во имя искренности и честности, становится актером. Один из показателей тотального актерства – массовое вступление в партию. Оттепельная ирония и самоирония трансформируется в цинический скепсис. И одна из драм постсоветского пространства продиктована как раз тем обстоятельством, что в него вступили циники, люди, утратившие лица.

Миф Хемингуэй демонстрировал искренность, но не демонстрировал цинизм; в 1970-ые годы этот миф отошел в прошлое. Проза и драма Фриша и Дюрренматта заполнили хемингуэевскую нишу. В 1970-ые – в первую половину 1980-х годов они выполняли в некотором смысле ту же функцию, которую выполнял анекдот. Анекдот был словом сохраняющейся идентичности в мире приспособления. Фриш и Дюрренматт показывали трансформации человека и социума, вектор этой трансформации; Фриш и Дюрренматт были службой предостережения и одновременно прогноза.

«*Homo Faber*», выдающийся роман Фриша, – это поток сознания, как и романы Хемингуэя, но это поток сознания человека, утратившего тот комплекс гуманитарно-этического начала, в результате чего он превращается в функционально-технократический биоаппарат, чья производственная и плодотворная деятельность венчается инцестом и смертью.

Детективы Дюрренматта в благопристойных и вполне преспевающих людях обнаруживают преступников, как в попу-

лярной в Советском Союзе повести «Авария»; для несообразительных Дюрренмэтт даже комментирует: ...Он не преступник, а жертва эпохи, Запада, цивилизации, которая, увы, все больше и больше утрачивает веру (теряющую свою чистоту), христианский дух, общий смысл и переходит в хаос, где человек остается без путеводной звезды; в итоге – смятение, одичание, кулачное право и отсутствие истинной нравственности. Преступнику и одновременно жертве остается одно: сунуть голову в петлю (в оконной нише темным неподвижным силуэтом на тусклом серебре неба, в густом запахе роз, висел Трапс... (Дюрренмэтт 1990, 237, 240).

В комедии «Физики», шедшей во многих театрах, санаторий с до боли знакомым и нежным названием «Вишневый сад» обворачивается могущественным трестом, который намеревается владеть миром, захватить все страны и континенты, всю Солнечную систему и долететь до туманности Андромеды. О том, на что проецируется эта программа, свидетельствует: а) Туманность Андромеды – популярный роман Ивана Ефремова; б) слова в романе: *Задача решена – не в пользу человечества. А в пользу горбатой старой девы* (Дюрренмэтт, 1998, V, 147). Доктор Матильда фон Цанд обворачивается сумасшедшей, а здравые люди, прикинувшись сумасшедшими, становятся палачами и убийцами. Такой исход имеет маскарадно-театрализованная реальность.

Наконец, в комедии «Ромул Великий», рассказывающей о последних днях Римской империи, под бюстами государственных деятелей, мыслителей и поэтов, принадлежащих истории Рима – неисчислимое скопище раскудахтавшихся кур, которые летают по сильно загаженной сцене (Дюрренмэтт, 1998, IV, 8, 30).

И эти швейцарские предупреждения и прогнозы рождали в советском социуме швейцарские томления, как некое мазохистское переживание собственной жизни и собственной истории. Макс Фрипп и Фридрих Дюрренмэтт – это важнейшие сегменты советского перцептивного пространства, сегменты, во многих отношениях являющиеся знаками Швейцарии.

С тех пор, несмотря на прошедшие годы, Швейцария имеет, по крайней мере для меня, лицо Макса Фриппа и Фридриха Дюрренмэтта.

ЛИТЕРАТУРА

- Дюрренматт Ф., 1990, *Избранное*. Москва: Радуга.
- Дюрренматт Ф., 1998, *Собрание сочинений в 5 томах*, тт. 4-5, Харьков: Фомио;
- Москва: Прогресс.
- Карамзин Н. М., 1987, *Письма русского путешественника*. Ленинград: Наука.
- Лебедев-Кумач В., 1954, *Стихи*. - *Русская советская поэзия: Сборник стихов 1917-1952*.
- Москва: Художественная литература.
- Фриш М. 1987, *Листки из вещевого мешка: Художественная публицистика*. Москва:
- Прогресс.
- Эренбург И., 1958, *Французские тетради: Заметки и переводы*. Москва:
- Советский писатель.

Swiss Nostalgias of the Late Ice Age Summary

Mental map always has both large and small topoi (countries, towns, buildings; mountains, deserts, rivers, etc.) and people (scientists, artists, political figures). Ernest Hemingway was the cultural symbol of the *Thaw* for the young generation of the 1950-60s. In the post-thaw period, the reception of Max Frisch and Friedrich Duerenmatt was of special significance in the Soviet Union. They became the major segments of the Soviet space of perception as well as signs of Switzerland.

Object: Switzerland and the *post-thaw* awareness.

Aim: Switzerland on the mental map of Russian intelligentsia in the 1960-70s.

Method: mental-comparative analysis.

Key words: *Frisch, Duerenmatt, Hemingway, Erenburg, the Loire, lesson, thaw, hens.*

ЯЗЫКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS

Наталья Авина

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
nataljaa@takas.lt

Речевая коммуникация при взаимодействии близкородственных языков: лингвистический аспект

Вводные замечания

Исследование проблем речевой коммуникации, ее сущности и форм проявления имеет начало в западной науке (напр., П. Грайс, Дж. Серль). Основной принцип коммуникации, названный П. Грайсом принципом кооперации, заключается в требовании делать вклад в речевое общение в соответствии с принятой целью и направлением коммуникации. Позже, в частности в российском языкоznании, исследуются психологические и социальные характеристики общения, семантическая интерпретация коммуникативных актов, особенности речевого поведения и сознания коммуникантов (напр., Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, Н. Д. Арутюнова, Т. Г. Винокур, Н. И. Формановская). Речевое общение понимается как целенаправленная активность говорящих, позволяющая им организовать сотрудничество (Леонтьев, 1977).

Особый интерес представляет речевая коммуникация в ситуации языкового контактирования. Коммуникативно-прагматические, психологические, ментальные, когнитивные и другие особенности билингвизма и полилингвизма приводят к изменениям в речевой практике говорящих, вырабатыванию новых коммуникативных установок.

Известно, что для характера речевого общения при языковом взаимодействии небезразлично, являются ли используемые в поликультурной среде языки генетически близкородственными или нет. В ситуации взаимодействия близкородственных языков речевая деятельность является специфической. Этой проблеме посвящается целый ряд работ; в частности, рассматриваются вопросы взаимодействия русского, белорусского, украинского языков (см.: Функционирование русского языка, 1981; Языковые ситуации, 1989; Борисенко, 1990; Кононенко, 1990; Лукашанец,

1990; Крысин, 2000 и др.). Предметом анализа становятся языковые особенности различных уровней, возникающие проблемы культуры речи, специфика языка художественной литературы и т.д. (см.: Русский язык в Белоруссии, 1985 и др.). В подобных исследованиях выявляется общая особенность: генетическая близость языков обуславливает более интенсивную и глубокую интерференцию, нежели в случае генетической отдаленности языков. Исследователи приходят к следующим общетеоретическим выводам:

– в условиях взаимодействия близкородственных языков естественным становится сближение их языковых параметров, взаимопроникновение конструктивных черт, характеризующихся высокой степенью подобия, – это проявления конвергенции (см., напр., Супрун; 1982; Функционирование русского языка, 1981);

– контакт между близкородственными языками увеличивает структурную близость, общность синтаксиса, морфологии, фонологии и фонетики (Ильяшенко, 1970, Журавлев, 2004 и др.), а именно: с одной стороны, близкое генетическое родство языков проявляется в том, что близкородственные языки характеризуются значительной общностью лексического состава, сходством словообразовательных средств и общностью способов словообразования; единством грамматических категорий и синтаксических конструкций; с другой стороны, на фоне сходства языковых характеристик общего плана наблюдаются многочисленные частные различия;

– существенным является фактор типологического сходства / различия языков, который в данном случае может рассматриваться в совокупности с фактором их генетической близости; сходство в грамматическом строе облегчает переход с языка на язык (см., например, Крысин, 2000);

– в результате взаимодействия близкородственных языков появляются «прямые, непосредственные двусторонние заимствования, а главное – возникает фактор творческого возбуждения и активизации собственных внутренних возможностей в одном из языков под воздействием другого» (Ижакевич, 1985, 30);

– в основе такого характера контактирования лежат по преимуществу психологические причины: при владении близкородственными языками говорящие меньше осознают их различия, чем при владении языками, более далекими друг от друга в генетическом отношении (Крысин, 2000).

Исследование проблем взаимодействия родного языка с генетически родственными языками является актуальным для современной лингвистики; многие же вопросы речевого общения ждут своего решения. Цель нашей статьи – определить некоторые особенности речевой коммуникации на родном языке в ситуации взаимодействия с близкородственными языками. Наиболее распространенная коммуникативная стратегия - употребление слов, оборотов из языков окружения. В связи с этим в работе ставится конкретная задача: рассмотреть специфику речевой коммуникации на русском языке (как родном) в г. Вильнюсе, которая связана с функционированием региональных инноваций. Появление подобных инноваций может быть обусловлено не только литовским, но и влиянием польского и белорусского языков.

Рассматриваемые в работе региональные языковые явления обозначаются общим понятием – “инновации” (ср. другие термины, используемые в лингвистике: заимствования, вкрапления, варваризмы, экзотизмы и др.). Распространенное определение лингвистического термина “инновация” – “новое, более позднее явление в языке” (Большой толковый словарь, 1998, 393).

Региональные инновации в русском языке, обусловленные польско- белорусским взаимодействием (на материале г. Вильнюса)

Влияние польского и белорусского языков, преимущественно на русское просторечие Вильнюса, проявляется на всех языковых уровнях. Выделим некоторые яркие черты.

Польские и белорусские инновации, функционирующие в речи русской диаспоры, в основном имеют эквиваленты в русском языке. Типичны тематические группы названий предметов быта, а также имена лиц, в ряду которых особо выделим наименования родства; инновации другого рода распространены менее. Например: *Сходки деревянные* (бел. сходы, пол. schody “лестница”); *Раньше фарбы натуральные были* (бел. фарба, пол. farba “краска”); *Фальбона я буду пришивать в самом конце* (бел. фальбона, пол. falbana “оборка”); *Aх я недоля, я ж молоко на плите оставила!* (бел. нядоля “горе, несчастье”, пол. liter. niedola “злая судьба”); *К братовой зайти надо* (бел. братова, пол. bratowa “жена брата”); *У меня сегодня очень сильная задышка* (бел. задышка, пол. zadyszka “одышка”); *Такой уж ее лёс!* (бел. лес, пол. los “судьба”) и др.

Польско-белорусские инновации представлены разными частями речи (в отличие от литуанизмов, которые являются преимущественно существительными): *Вода летняя* (бел. летні, пол. letny “теплый”); *Кастрюлю надо пошаровать сильнее* (бел. пашараўаць, пол. poszarować “потереть”); *Это не трудно, марудно только* (бел. марудна, пол. marudnie “хлопотно”).

В русском просторечии Литвы происходит активизация ряда деривационных моделей, в частности, прилагательных и наречий с приставкой *за-*, имеющей словообразовательное значение “слишком”: *Хозяйка говорит, что я затихая девочка; загорячий чай, заузкое пальто* и под. (бел. заціхі, загарачы, завузкі). Интенсивность образования данных дериватов связана с действием аналогичных словообразовательных типов как в белорусском, так и польском и литовском языках, например: бел. *замнога* или *зашмат*, пол. словосочетание *за dużo*, лит. *perdaug* “слишком много”.

В составе синтаксических конструкций активизируются специфические словосочетания: *мало что...* (бел. мала што “неважно то, что”); *так же само, как...* (бел. так сама “точно так же”, пол. соответствие *tak samo jak*) – *Мало что он рыжий, мало что он пьяный, может, душа у него хорошая; У него двойку легко было получить, так же само, как и пятерку.*

Выделим основные мотивы включения польско-белорусских инноваций в русскую речь:

– экспрессивность, придающая речи выразительность: *Сейчас кто дома сидит, кто работает, а кто так шаруется* (бел. шараваць “тереть”, здесь – переносное значение “трется”);

– речевая экономия: проще и быстрее сказать *снить* (бел. сніць, прысніць), а не *видеть сон, сниться*;

– привычка употреблять подобные слова, что связано прежде всего с бытовыми ситуациями; например, покупая в магазине или на рынке филейную вырезку, русские нередко называют ее *полендвица* (пол. *polędwica*);

– значительное звуковое сходство слов в контактирующих языках, которое может приводить к их смешению и появлению: а) межъязыковых омонимов – *Зимовые сапоги* купили (бел. зімовы, пол. *zimowy* “зимний”); *Суп редкий* (бел. *рэдкі* “жидкий”); *У девочки прыщики нашлись* (бел. *знайсціся* “появиться”); б) межъязыковых паронимов – *Сговориться можно с ней и по-русски* (бел. згаварыца “договориться”).

Безусловно, необходимо иметь в виду различные этно-культурные факторы, влияющие на мотивы и интенсивность использования подобных инноваций в родной (русской) речи билингвов. При сопоставлении мотивов включения инноваций из генетически родственных языков (польского, белорусского) и неблизкородственных – в частности, литовского (см. подробнее Авина 2006) определяются различия. Так, некоторые мотивы включения инноваций, характерные для литуанизмов, – необходимость обозначить новые предметы, понятия данного социокультурного пространства; зрительный образ слова, который может определять выбор заимствования, – оказываются не столь актуальными для восточнославянских инноваций. Главная же причина использования инноваций в речи – это коммуникативная целесообразность.

Для определения специфики функционирования в русской речи польско-белорусских инноваций был проведен опрос. В нем принимало участие 55 русских респондентов, преимущественно жителей Вильнюса: русисты – студенты и магистранты Вильнюсского педагогического университета, а также другие респонденты – люди со специальным средним или высшим образованием, различных профессий в возрасте от 30 до 50 лет. Для этого респондентам – носителям литературного языка – предлагался список региональных употреблений, зафиксированных в просторечии в бытовых ситуациях.

В результате опроса была определена значительная группа польско-белорусских инноваций, устойчивых в речи большинства информантов: постить «соблюдать пост», кумпяк «окорок», говориться «договориться», але «но», редкий «жидкий», летний «теплый»; слова, обозначающие родственные отношения: *швагер*, *швагерка*; производные с приставкой *за-* (замного, замало).

Отношение респондентов к подобным употреблениям неоднозначно. Большинство относится к таким употреблениям отрицательно, считая их фактами нелитературной речи, обусловленной недостаточным уровнем образованности говорящего. По мнению респондентов, такие слова “снижают культуру речи, делают речь ненормативной”, “режут слух” и под. Некоторые же продемонстрировали терпимость к таким инновациям: “снисходительно отношусь к ним”; “эти слова раздражают, но иногда в разговорной речи допустимы”; “такие примеры распространены, простой народ так говорит”. Наконец, немногочисленная группа респондентов (в основном те, в речи которых частотность исполь-

зования подобных инноваций выше) относится к таким употреблениям “довольно спокойно”, “нормально”, “нейтрально” и даже приветствует употребление подобных выражений – “это оживляет речь”.

Следовательно, польские и белорусские инновации характерны не только для нелитературной речи, просторечия, но возможны и в других сферах языка. В частности, они отмечаются в устной разговорной речи людей, владеющих литературной нормой, например, в речи студентов-руссистов – *Нет, я не русская, я мешаная* (бел. мяшаны “смешанный”); *Вчера спервничала*, когда компьютер не включался (словообразовательная калька из бел. знерваваца “понервничать”); в речи преподавателя-руссиста в непринужденной обстановке: *Режем лимон на маленькие дольки, скибочки* (бел. скібачка, пол. skibka); в речи военного – *Мы завтра будем балевать* (бел. баляваць “пировать”). Следовательно, можно говорить об употреблении польско-белорусских инноваций и в речи носителей литературного языка, причем употреблении осознанном, например, в смешанных семьях, в бытовом общении с друзьями, соседями. Приведем, к примеру, ответ одной магистрантки: “Понимая все минусы подобных употреблений, использую данные заимствования и просторечные формы в общении с бабушкой и людьми ее поколения”.

Говоря о сферах распространения польско-белорусских вкраплений, следует иметь в виду их широкое использование в речи русских старообрядцев Литвы (Немченко, 1963; Сивицкене, 1969; Чекмонас, Морозова, 1997 и др.). Польско-белорусское влияние существенно также в языке русских пословиц (Русские пословицы Литвы, 1992): *Гультай не боится, что залежится* (бел. гультай, пол. региональное hultaj “лодырь”; ср.: пол. литер. “негодяй”); *Найлепший друг обдул вокруг* (пол. najlepszy, бел. найлепшы “самый лучший”) и др.

Некоторые особенности речевой коммуникации, обусловленные взаимодействием с близкородственными языками

Определим специфику речевой коммуникации при взаимодействии с близкородственными языками в сопоставлении с особенностями взаимодействия с генетически отдаленным языком.

1. В рассматриваемой этнокультурной ситуации данный тип языкового контактирования является территориально ограниченным. Следовательно, анализируемые польско-белорусские

региональные инновации не являются общераспространенными для русского языка в Литве (в отличие от широко распространенных литуанизмов).

2. Конкретная языковая ситуация и статус контактирующих в данном социуме языков определяют следующие особенности.

а) Русско-польско-белорусское контактирование характерно лишь для некоторых сфер функционирования русского языка (в отличие от взаимодействия с литовским языком, которое проявляется во многих сферах использования русского языка). Русско-польско-белорусское взаимодействие наиболее интенсивно в просторечии, а также в разговорной речи, но не в письменном литературном языке (по сравнению с литуанизмами).

б) Функционирование польско-белорусских инноваций ограничивается (в отличие от литуанизмов) преимущественно сферой бытового общения. Это находит отражение и в составе тематических групп лексических инноваций, обычно не включающих названий социально значимых реалий.

3. Рассматриваемая этнокультурная ситуация характеризуется полилингвизмом. Русско-литовско-польско-белорусское взаимодействие является сложным (см., например, Garšva, 1989; Плыгаўка, 2001). В связи с этим трактовка многих языковых явлений не может быть однозначной.

а) Целый ряд явлений может быть фактом нескольких контактирующих языков, например, пол. matula, бел. матуля, лит. motulė “матушка”: *Моя матуля – лучшая подружка*; пол. kamizelka, бел. камізэлька “жилет”: *У нее платье с камизелькой*; пол. sloik, бел. слоік “стеклянная банка”: *Дай мне слоік поменьше*.

В связи со сложностью подобных явлений для их дифференциации необходимы специальные этимологические исследования, не входящие в круг задач данной работы. Отмечая наличие языкового явления в польском или белорусском языках, а также в местном диалекте, и основываясь на данных словарей (Słownik języka polskiego, 1996; Nowy słownik poprawnej polszczyzny, 2002; Тлумачальны слоунік беларускай мовы, 1977-1984 и др.), мы определяем соответствующие факты как “польско-белорусские инновации”. Заметим, что в работах, посвященных региональным особенностям других языков, контактирующих в Литве, например, польского, подобные русско-белорусские явления ввиду сложности их дифференциации определяются как *wschodniosłowiańskie* – восточнославянское влияние (например, Masoić, 2001).

б) Неоднозначно влияние каждого из этих языков, в частности, польского: как регионального варианта кодифицированного языка; как регионального польского – некодифицированного, функционирующего в устной речи и просторечии; как местного говора (так называемый “тутейший язык”). При этом и первый, и второй, и третий вариант, оказывающие влияние на речь русских, в значительной степени насыщены белорусизмами (см. об этом подробнее Masoic, 2001). Ряд польско-белорусских вкраплений является стилистически сниженным также в языках-источниках: *Машину вдребезги расхарата*л (пол. *rozharatac* “разбить”).

4) Рассматриваемые явления, обозначаемые как интерференционные, в ряде случаев могут быть распространены и в общерусском просторечии или в диалектах. Как известно, граница между просторечными и диалектными единицами условна (например, Капанадзе 1984). Некоторые инновации, функционирующие в русском просторечии Литвы, – это общерусские диалектно-просторечные явления (см., например, Даль, 1999, Словарь русских народных говоров 1965-1970). При этом некоторые слова являются общими и для русских старожильческих говоров Прибалтики (Немченко, Синица, Мурникова, 1963), а ряд примеров зафиксирован также в русском просторечии Латвии – в Даугавпилсе (Королева, 2000): *братова, жебрак, клямка, спасиовать, где-нигде*, словосочетание *так само*; производные с приставкой *за-: зажарко, замало, засладко, зарано* и др.

Нам представляется, что в русском просторечии Литвы подобные общерусские диалектно-просторечные явления активизируются и проявляют особую устойчивость именно благодаря взаимодействию с контактирующими языками. Этим же фактором определяется нередко толерантное, несмотря на нарушение литературной нормы русского языка, отношение к подобным инновациям в речевой коммуникации, о чем свидетельствуют ответы наших респондентов.

Заключение

Специфика речевой коммуникации в конкретной ситуации этнокультурного взаимодействия, бесспорно, обусловлена рядом факторов: территориальными и демографическими особенностями данного социума; социальной дифференциацией говорящих; различной коммуникативной компетенцией; индивидуальными и многими другими особенностями. Между тем выявляются не-

которые типические черты, характерные для речевой коммуникации билингвов в ситуации языкового контактирования

С одной стороны, наш материал подтверждает устойчивость и глубину процессов интерференции, что характерно для речевой коммуникации при контактировании близкородственных языков. С другой стороны, выявляются региональные особенности данного взаимодействия, которые обусловлены соответствующей этнокультурной ситуацией. Так, рассмотренные региональные инновации в русском языке в г. Вильнюсе, обусловленные польско-белорусским влиянием, могут быть связаны и с общерусским просторечием, диалектами.

В нашей работе затрагивается лишь один из многочисленных аспектов изучения речевой коммуникации в ситуации языкового контактирования - лингвистический. Комплексный же подход к подобному исследованию, связанный с проблемами теории коммуникации, межкультурного общения, коммуникативного поведения, языкового сознания говорящих, позволит сделать более глубокие и основательные выводы.

ЛИТЕРАТУРА

- Авина Н. Ю., 2006, *Родной язык в иноязычном окружении*. Москва-Вильнюс.
- Большой энциклопедический словарь. Языкоzнание, 1998, Глав. ред. В. Н. Ярцева. Москва.
- Борисенко Н. А., 1990, *Лексико-семантическая интерференция в русской речи на Украине (лингвистический и социолингвистический аспекты)*. Автoreферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Киев.
- Даль В. И., 1999, *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 1-4. Москва.
- Журавлев В. К., 2004, *Внешние и внутренние факторы языковой эволюции*. Москва.
- Ижакевич Г. И., 1985, Русская речь в украинском языковом окружении // *Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия*. Москва. С. 30-42.
- Ильяшенко Т. П., 1970, Языковые контакты (на материале славяно-моловавских отношений). Москва.
- Кананадзе Л. А., 1984, Современное городское просторечие и литературный язык // *Городское просторечие. Проблемы изучения*. Москва. С. 5-12.
- Кононенко В. И., 1990, Вариативность синтаксической нормы в условиях близкородственного двуязычия // *Грамматическая интерференция в условиях близкородственного двуязычия*. Москва. С. 127-138.

- Королева Е. Е., 2000, Диалектные черты городского просторечия Даугавпилса // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. III. Язык диаспоры: проблемы и перспективы. Тарту. С. 54-64.
- Крысин Л. П., 2000, О некоторых особенностях двуязычия при близком родстве контактирующих языков // Речевое общение в условиях языковой неоднородности. М., С. 153-161.
- Леонтьев А. Н., 1977, Деятельность. Сознание. Личность. М.,
- Лукашанец А. А., 1990, Особенности грамматической интерференции в условиях близкородственного двуязычия // Грамматическая интерференция в условиях близкородственного двуязычия. М., С. 120-127.
- Немченко В. Н., 1963, Русские старожилы Литвы и их говоры // Языкоизнание. Т. VII. Вильнюс.
- Немченко В. Н., Синица А. И., Мурникова Г. Ф., 1963, Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. Рига.
- Плыгаўка Л. Беларуска-літоўскія рэгіянальныя контакты ў сістэме інтэрферэнтных з'яў полікультурнай зоны. Мінск, 2001.
- Русские пословицы Литвы, 1992, (Изд. подготовили Ю. А. Новиков и Т. С. Шадрина). Вильнюс.
- Русский язык в Белоруссии, 1985, Минск.
- Сивицкене М. К., 1969, Некоторые вопросы изучения лексических заимствований в русских говорах Литвы // Вопросы теории и истории языка. Ленинград.
- Словарь русских народных говоров, 1965-1970, М.
- Супрун А. Е., 1982, В условиях близкородственного двуязычия // Русский язык в национальной школе, №2. М.
- Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, 1977-1984, Т. 1-5. Мінск.
- Функционирование русского языка в родственном окружении, 1981, Минск.
- Чекмонас В., Морозова Н., 1997, Проблемы языковой интеграции староверов в литовское общество // Русские Прибалтики: механизмы культурной интеграции (до 1940 года) / Сост. Т. Ясинская. Вильнюс. С. 102-117.
- Языковые ситуации и взаимодействие языков, 1989, Киев.
- Garšva K., 1989, Kalbinės situacijos raida pakraščių šnektose // Lietuvių kalbotyros klausimai (28). Kalbų ryšiai ir sąveikos. Vilnius. P. 12-39.
- Masoń I., 2001, Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie. Warszawa.
- Nowy słownik poprawnej polszczyzny, 2002, Pod red. A. Markowskiego. PWN, Warszawa.
- Słownik języka polskiego, 1996. Pod red. M. Szymczaka. T 1-3. PWN. Warszawa.

Speech Communication upon Contracting of Sister Languages: The Linguistic Aspect Summary

Speech activity is a specific one in the situation of interaction with sister languages. The object of the article is to determine the specific character of the Russian language stipulated by interaction with sister languages. In this connection, the concrete goal is to determine peculiarities of the Russian language as a native one stipulated by Polish-Belorussian influence upon situation of lingual contacting in Vilnius. Facts of interference are analyzed in the systematic-structural and communicative-functional perspectives. The paper studies some widespread features of the Russian-Polish-Belorussian interaction mainly outlined in the spoken language as well as causes for usage of innovations and peculiarities of functioning thereof in the native language of Russians.

Our material confirms stability and deepness of interference processes on the one hand, that is typical for contacting of sister languages. On the other hand, regional peculiarities of the interaction are found out which are stipulated by the specific ethnocultural situation.

Key words: *speech communication, interaction of sister languages, interference.*

Ирина Баданина

Московский городской педагогический университет (Россия)
iribada@mail.ru

Линас Сельмистрайтис

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
linas@vpu.lt

О некоторых внешних заимствованиях в литовском и русском языках

Последние десятилетия жизни европейских стран отмечены бурными процессами интеграции и глобализации как в сфере политики, экономики, так и в сфере культуры в широком смысле этого слова. В связи с этим встает задача – как совместить интересы отдельных национальных языков, культур и неизбежные процессы, т.е. влияние разных языковых систем друг на друга. Несомненно, что модой, особенно среди молодежи, является американская субкультура, отдельные феномены образа жизни зарубежных сверстников и, безусловно, английский язык как самый престижный. Как отмечает В.Г. Костомаров, связанная с английским языком культура в сознании молодежи все более укореняется в качестве центра, излучающего если не законодательно, то привлекательно технические новшества, образцы общественного порядка, «стандарты жизненного уровня, эстетические представления, эталоны культуры, вкусы, манеры поведения и общения» ([3]; 110). Поэтому английские заимствования очень часты в молодежной речи и в текстах Интернета ([7]; 65-72). Иногда заимствованные слова предпочтитаются исконным эквивалентам, а структура английских предложений влияет на структуру русских и литовских ([9]).

Цель данной статьи – рассмотрение некоторых «внешних заимствований» (термин В.Г. Костомарова, [3]), появляющихся в литовской и русской лексике, и сравнение их семантических и структурных особенностей в каждом из двух языков. Материал для исследования собран из газет, журналов, Интернета, рекламных объявлений. Некоторые примеры взяты из разговорной речи: программ радио и телевидения, речи студентов, докладов

ученых на научных конференциях, и т. д. Отдельные примеры взяты из современных словарей английского, литовского и русского языков с целью показать устоявшийся характер некоторых описываемых заимствований. В статье будут проанализированы отдельные слова, которые уже прочно вошли в русский и литовский языки, и те слова, которые еще не нашли места в их лексической системе. Это заимствования, которые являются неологизмами или словами с расширившимся значением от слов *fine, super, turbo, top, sexy, nostalgia, moderator, art, Google, egosurfing*.

Существует много факторов, влияющих на стремление людей к американской культуре и английскому языку в частности. Язык является не только простым средством коммуникации. Он связан и с организацией работы, научно-техническим прогрессом и выражением духовной культуры. Порой создается впечатление, что в национальных языках нет собственных средств для выражения того или иного понятия. Ведь часто заимствованные слова обозначают только поверхностные явления, которые абстрагированы от внутреннего мира говорящего ([8]: 137-148). Заимствования, употребляемые в речи, в известной степени воздействуют на образ жизни говорящего. Конечно, влияние иностранного языка может быть позитивным, но только до того времени, пока это не влияет на систему родного языка. Несомненно, нужно разграничить негативное иноязычное влияние и естественное развитие языка, заимствование явлений культуры других стран и проникновение вместе с ними их обозначающей лексики.

Внешние заимствования хорошо заметны среди лексики, выражающей одобрение, похвалу, положительные эмоции, т.е. среди оценочной лексики. Всем известное английское прилагательное *fine* в литовском языке в среде молодежи используется повседневно *fainas, faina, fain*. В русском языке данное слово употребляется очень редко и не имеет столько вариантов, как в литовском: день *файный* был¹ / Žaidimas savotiškai įdomus, kadangi toks paprastas ir fainas/ Parduodam labai fainą kombinezoną/ Ieškoma faina kambariokė/ Žinai, faina žinoti, kad kažkam esi fainas/ Būti fainam ir turėti fainą draugų/ Ir tas mūsų gyvenimas yra fainas, tik reikia mokėti ji fainai gyventi.

¹ Приводимые примеры взяты из Интернета. Русские и литовские примеры к одному и тому же слову не являются эквивалентными в плане содержания. Примеры из словарей сопровождаются пометой Словарь.

В русском языке данное слово употребляется и в выражениях, связанных с разными технологиями: Особую популярность приобрела технология *файн-лайн* / *Файн-лайн* – современный и технологичный материал нового поколения, широко используемый для отделки корпусной мебели.

В русском языке в результате заимствования данного слова возник омоним. Так, слово *файнный* в значении «хороший, приятный» совпадает по звучанию и написанию со вторым корнем сложного слова «хай-файнный». Однако здесь формант «-файнный» имеет значение «достоверный, качественный» и восходит к английской аббревиатуре *hi-fi* (*high fidelity*). При помощи суффикса образуется прилагательное, но со значением «высококачественный, высокодостоверный»: *раскрученные хай-файные брэнды* и *крупные производители электроники /настоящий хай-файнный кроссовер/ рассчитывать на хай-файнный класс воспроизведения*. В литовском языке нет производных от слова *hi-fi*. Чаще всего данное слово используется в сочетании со словом *sistema* (система), что свойственно и русскому языку: *новая компактная Hi-Fi система /миниатюрная Hi-Fi система/ tažytė hi-fi sistema/ komponentinė „Hi-Fi“ natų kino teatro sistema*.

Часто латинские слова приходят в русский и литовский тоже через английский, например, *турбо/ turbo, супер/ super* как выразительные средства: *Байкерская традиционная турбо-вечеринка/ Сюжет набирает обороты на турбо-скоростях/ Добро пожаловать на русскоязычный сайт о суперсериале «Мятежный Путь»/ Настоящая модница, – сказала Ольга, – это та дама, женщина или девочка, которая может и на блошином рынке купить какую-то вещь, а потом достать у бабушки что-то из сундука, к этому раздобыть ожерелье от Лагерфельда, всё это на себя надеть... И быть просто супер* (Словарь)/ *Čia kažkas tokio super/ Ir vis dėlto super super/ Parduodu Turbo soliariumą/ Ar dar atsimenate turbo loteriją/ Kviečiame į turbo vakarą.*

К данным корневым морфемам часто добавляется литовские или русские суффиксы и окончания, что означает морфологическую ассимиляцию слов: *Суперный рок-гитарист не обязан также суперно играть фламенко/ Naujas superinis saitas Lietuvoje/ Turbiškiausia vasaros stovykla*. В английский язык слова *turbo, super* пришли из латинского, потом в данных значениях они были заимствованы в русский и литовский. Причем английские толковые словари не включают значение слова *turbo* как «требующий большой энергии, огромный по масштабам, интенсивный», а

только как связанное со значением «турбина» от латинского *turbo* – водоворот. Но в английских интернет-страницах слово *turbo* функционирует в значении, которое в молодежной среде употребляют чаще всего в словосочетаниях со словом вечеринка (*turbo party*). Однако ни слово *turbo*, ни слово *super* в английском языке не является основой, к которой присоединяется аффикс, в отличие от литовского или русского. В литературном русском и литовском языках данные форманты употребляются как начальные компоненты сложных слов и пишутся слитно со вторым корнем, который они и характеризуют.

К подобного рода словам относится и слово *mon/top*. В русском языке оно чаще всего встречается в словосочетаниях, характеризующих людей или технические приборы: *Многих «топовых» девушек красавицами не назовешь/ Речь идет о топовой комплектации иномарки среднего ценового сегмента*. В литовском языке данное слово функционирует с названиями разных предметов: *topinis klausimas apie kelių eismo taisyklių pakeitimų/ Mano manutu – tai topinis produktas*. Слово *mon* в сочетании со словом девушки намного чаще встречается в русском языке, чем в литовском.

Конечно, английское заимствование *mon/top*, *topinis*, *topinė* в русском и литовском языках употребляется в средствах массовой информации уже второе десятилетие, особенно широко – в разговорной речи. В литовском языке данное слово получает и новые значения в сочетании со словами, с которыми в XX веке оно не употреблялось: *topinė ateitis*, *topinis dalykas*, *topinė istorija*, *topiniai televizijos reikalai*, *topinis studentas*, *topinis diplominių darbų*.

Слово *сексуальный/ seksualus* (*sexy*) стало использоваться в другом значении, чем это зафиксировано в толковых словарях русского и литовского языков. Так, например, в «Большом толковом словаре русского языка» ([2]; 1171) слово *сексуальный* имеет следующие значения: 1) плотский, половой, чувственный; 2) вызывающий сильное чувственное влечение. Однако позднее слово *сексуальный/ seksualus* под влиянием английского слова *sexy* приобрело значение «привлекательный, интересный, хороший, красивый»: *Сексуальное платье для того, чтобы вы чувствовали себя королевой в любую погоду/ Bateliai smailais kūlnais šį sezoną yra supaprastinti, elegantiški ir seksualūs/ Labai seksualaus alaus reklama*.

Причем первое значение слова *sexy* в английском толковом словаре “Longman Dictionary of Contemporary English” ([6]; 1505) совпадает со значением слова *seskualus/ сексуальный* в литовс-

ком и русском словарях. Однако именно под влиянием второго значения (слово *sexy* в английском языке во втором значении используется только в разговорной речи) данного английского слова произошли семантические изменения в русском и литовском языках: *Женщины выбрали самый сексуальный автомобиль/ Seksualiausia valgytoja pripažinta mergina sudorojo 12 didžkukulių.*

В результате семантические изменения привели к тому, что сочетания *top девушка/ topinė panelė* и *сексуальная девушка/ seksualia panelė* стали употребляться как синонимичные.

Исследование влияния заимствований на литовский язык, проведенное В. Рудайтене, показывает, что литовские слова под иноязычным влиянием меняют свое значение или приобретают новые дополнительные значения ([10]; 94-107; [11]; 59-65). Изменение значений слов под влиянием других языков в последние десятилетия в русском языке тоже очевидно ([1]; [3]). Слово латинского происхождения *модератор/ moderatorius* (от английского *moderator*) в литовском и русском литературных языках было известно только как термин физики и музыки ([12]; 325). Под влиянием английского существительного *moderator*, которое обозначает того, чья работа вести дискуссию или посредничать в споре между людьми, русское и литовское *модератор/ moderatorius* приобрело новое значение: *Докладчик выступает как модератор дискуссии, им также должны быть подготовлены вопросы для дискуссии/ Модератор конференции должен соблюдать корректность и беспристрастность по отношению ко всем ее участникам/ Konferencijos moderatorius retoriškai teiravosi, kas gi iš tiesų yra šiandieniniai žurnalistai.* Слово *moderatorius* в значении «ведущий дискуссию» уже зафиксировано в литовском словаре „*Tarptautinių žodžių žodynas*“ ([13]; 489) и в словаре Скляревской ([4; 603]).

Под влиянием английского языка семантическое поле существительного греческого происхождения *ностальгия/ nostalгija* расширилось. Слово приобрело новые значения в дополнение к первому значению «тоска по родине, родному дому» ([5]; 429). Теперь в разговорной речи оно часто встречается в значении «идеализированное воспоминание, сожаление» или «тоска по чему-то / кому-то, желание чего-то»: *ностальгия по салату «Оливье» / krepšinio nostalгija/ nostalгija blogiems kino teatras ir seniems filmams / Senių valiutų nostalгiją liudija ir Vokietijos centrinio banko "Bundesbank" paskelbta statistika.*

Сочетания со словом *art* чаще встречаются в русском языке, чем в литовском. В литовском языке это сочетания со словами *direktorius* и *studija*, в русском же сочетаемость шире: Получить [клубную карту] сложно, но можно. Иногда достаточно знакомства с *арт-директором*, а порой необходимы и специальные рекомендации (Словарь). Таким он и остается в нормально действующей системе социальных отношений, и поскольку искусство составляет часть этой системы, постольку *арт-дилер* всячески желателен и даже необходим (Словарь). Борис Александрович Смирнов был своим в советском *арт-истеблишменте* 60-80-х годов: уважение, слава, звания, музейные закупки, ученики, монографии (Словарь). В прошлом году более 250 ребят, занимающихся по специальной программе *арт-терапии* в Российском центре музейной педагогики и детского творчества Русского музея, стали обладателями собранных таким образом новогодних подарков (Словарь). *Vat tada bus laikas išsitraukti tą lagaminėli ir eiti į pokalbį dėl art direktoriaus darbo.*

Среди поисковых систем Интернета в последнее время лидирует *гугл/google*.

В литовских интернет-страницах слово *google* имеет два варианта написания, которые образованы при помощи окончаний мужского рода *-as, -ius*: *Ar tavo kompiuteryje googlas aptokestintas?* / *Kaip smagu būtų, jei googlius galėtų mygtuko spragtelejimu ir perkelti tiesiai i norimą gatvelę.*

Название компании Google в последнее десятилетие стало базой для образования нескольких глаголов: Очевидно, что я могу по известным мне данным выиграть эту тему! Термин *гуглить* находится в словаре «Компьютерный сленг» – одном из словарей компьютерного журнала *Lietuvių kalboje yra keletas šio naujadaro variantų – gūglinti, gūglinėti su išvestinėmis formomis pagūglinti ar išgooglinti/ Puolėm į internetą ir įėmėme "gūglinti", ieškojome tūsų reikalavimus atitinkančias valtis.* Компания Google рассыпала письма в средства массовой информации с просьбой отказаться от употребления ее названия в качестве глагола, а также выразила неудовольствие по поводу того, что Google довольно быстро переходит в обиходную речь. На взгляд специалистов Google, широкое применение названия может навредить имиджу данной поисковой системы. Единственное, что может предпринять в такой ситуации компания, – запретить включение слова Google в словари. Однако если слово входит в активное употребление, то никакое изъятие из словарей не помешает его повсеместному распространению. Когда-то с подобными проблемами сталкивалась компания Xerox,

торговый знак которой используется в русском языке для описания фотокопировальных услуг: *Эту форму можно распечатывать, ксерокопировать и распространять без каких-либо ограничений.* (http://www.seonews.ru/news/.info_news/910/).

В литовском языке от *google* образовались два варианта глагола: *gūglinti* (*googlinti*) и *gūglinėti* (*googlinèti*), и его производные *pagūglinti* (*pagooglinti*), *išgūglinti* (*išgooglinti*), *nugūglinti* (*nugooglinti*): *Šiaip tai web`e informacijos reikia ieškoti, googlinti, googlinti ir dar kartą googlinti.* Как видим, в литовском языке написание данных слов в Интернете не устоялось, что свидетельствует об их новизне и, следовательно, отсутствии кодифицированного орфографического оформления. В то же время орфографических вариантов у слова *гуглить* в русском языке нет: функционирует только один вариант слова *гуглить* с его производными *погуглить*, *выгуглить*, *сгуглить* в значении «найти информацию на интернет-странице через поисковую систему *Google*»: *Я читал уже не раз про будущий кризис пресной воды (мне сейчас, к сожалению, не сгуглить ссылки, извините).* Вариантное написание в литовском языке можно объяснить и тем фактом, что в русском языке данные слова пишутся кириллицей, а в литовском латиницей, что позволяет соотнести слова *pagooglinti*, *išgooglinti*, *nugooglinti* с написанием оригинального слова *google* с двумя буквами «о».

От слова *google* было образовано еще одно производное слово – *гуглик/ gūglitas* (*googlikas*). *Гуглик* – это ссылка на определенное явление или слово, отыскиваемое в поисковой системе *Google*. *Гуглик* – новейшая информационная валюта, единица известности в Интернете, равная одной ссылке в поисковой системе *Google*: *Две знаменитости начинали в одно время, теперь меряются гонорарами в тутриках и славой в гугликах.* Чтобы определить количество *гугликов* о том или ином лице, фамилия вводится в поисковое окно *Google*. Цифровой результат в правом верхнем углу и будет количеством *гугликов*. Например, А. Ахматова обгоняет М. Цветаеву по своей сетевой славе на 400 000 *гугликов*. Известнейший литовский баскетболист А. Сабонис обгоняет другого популярного баскетболиста Ш. Марчюлениса на 320 000 *гугликов*. Сравнение количества *гугликов* дает возможность определить популярность в Интернете определенных лиц [<http://www.novayagazeta.ru /data/2008/color25/17.html>]

Однако слово *гуглик/ googlikas* употребляется и как уменьшительно-ласкательное слово, производное от *google*: *Гуглик ссылочку вывалил/ Ir kadangi vakar googlikas buvo mano draugas*

numeris vienas, supratau, kad ne man vienam tokia problema/ Guglikas, tiesta, lietuviškas raides apkarpo. Очевидно, что данные слова стали омонимами.

В связи с популярностью поисковых систем активное развитие получило новое явление – стремление пользователей Интернетом найти свое имя в этой сети. В английском языке это явление называется *egosurfing*. А в русском и литовском языках – *эгонетика/ egonetika*. *Эгонетика* (от *ego* (лат.) – «я» и от *net* (англ.) – «сеть») – поиск и распространение своего имени и ссылок на себя в Интернете (сетевой нарциссизм). Правда, появление этого слова в сети еще не свидетельствует о его активном вхождении в русский и литовский языки, так как это единичные случаи по сравнению с количеством употребленного английского слова *egosurfing* на английских страницах (соответственно 27 000 на английском языке, всего 30 на русском и 1 на литовском): *Максим – отличный программист, но есть у него одна слабость. Как сказал бы Станиславский, любит не сеть в себе, а себя в сети. На эту эгонетику тратит по несколько часов в день.* Что касается литовского слова *egonetika*, то единичное его употребление связано с тем фактом, что статья о русском слове *эгонетика* была переведена на литовский язык и помещена на интернет-странице [<http://dievas.wordpress.com/2008/09/24/egosurfing-fenomenas/>].

В последнее время *эгонетика* из простого поиска трансформируется в активное создание собственного образа в Интернете [<http://www.mixtura.org/blog/viewtopic.php?t=4615&sid=072648329d3c4e11d370feed088666d5>].

В данной статье нами проанализированы лишь некоторые внешние заимствования и образованные на их базе литовские и русские слова. Однако приведенные факты позволяют сделать определенные выводы о трансформациях заимствований в русском и литовском языках, о различиях и сходстве их функционирования в данных языках:

1. Оба языка испытывают влияние английского языка, заимствуя лексические единицы с разными значениями.

2. У заимствований отмечается развитие новых значений как под влиянием английского языка, так и по причинам собственных потребностей языков в номинации новых реалий.

3. В воспринимающих языках заимствования подвергаются различным воздействиям с целью адаптации к возможностям языковой системы и нуждам пользующихся этими языками:

а) получают суффиксы и/ или окончания литовского и русского языков;

б) становятся базой для дальнейшего словообразования.

4. В связи с этим можно констатировать, что за счет заимствований и на их основе в результате словообразовательных процессов расширяется лексическая система воспринимающих языков – литовского и русского.

5. Закономерно, что заимствования и образованные от них лексемы не включаются сразу в литературные литовский и русский языки, будучи весьма употребительными в разговорном языке.

6. Процессы заимствования приводят к появлению омонимов и синонимов в оценочной лексике описываемых языков.

7. К отличиям литовского языка от русского в плане отношения к тем или иным заимствованным лексическим единицам следует отнести то, что некоторые заимствованные лексемы употребляются в русском чаще. С одной стороны, это связано с тем, что носителей литовского языка всего около 3 млн. и регулирование процессов, связанных с проникновением новых слов, является более легкой задачей, чем в стране с 145 млн. жителей [<https://www.mk.ru/blogs/idmk/2002/11/16/mk-daily/2017/>]. С другой стороны, маленькие языки всегда более негативно относятся к заимствованиям, так как подсознательно это воспринимается как угроза самому языку.

8. В литовском отмечается большая вариативность в написании образований на базе английских заимствований, что свидетельствует о большей степени их новизны и, следовательно, отсутствии у них кодифицированного орографического оформления. Это также свидетельствует о нешироком употреблении данных слов, так как их правописание не унифицируется. С другой стороны, это можно объяснить и тем, что написание данных слов возможно соотнести с их написанием в языке-источнике, который как и литовский язык использует латиницу.

ЛИТЕРАТУРА

Авина Н. Ю, 2006, *Родной язык в иноязычном окружении*. М.

Большой толковый словарь русского языка, 2001, СПб.

Костомаров В. Г., 1999, *Языковой вкус эпохи*. СПб.

Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика, 2008.

Под ред. Г. Н. Скляревской. М.

- Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1993. Vilnius.
- Longman Dictionary of Contemporary English, 2003. London.
- Rudaitienė V., 2000, Tarptautinių žodžių vartojimo polinkiai // *Lituanistica*. Vilnius. Nr. 1/2 (41-42), P. 65-72.
- Rudaitienė V., Selmistraitis L., 2002, The Phenomena of Cultural Transformation in Lithuanian Lexis // *Acta Academiae Paedagogicae Agriensis*. Hungary, Eger, P. 137-148.
- Rudaitienė V., Vitkauskas V., 1998, *Vakarų kalbų naujieji skoliniai*. Vilnius.
- Rudaitienė V., 2001, Žodžiai su prepoziciniais nelietuviškos kilmės dėmenimis // *Lituanistica*. – Vilnius, Nr. 2 (46), P. 94-107.
- Rudaitienė V., Račienė V., 2001, Kultūros transformacijos procesai Vidurio Europos šalyse // *Kultūros barai*. Vilnius, Nr. 5, P. 59-65.
- Tarptautinių žodžių žodynas, 1985 . Vilnius.
- Tarptautinių žodžių žodynas, 2005. Vilnius.

On Some Borrowings in the Lithuanian and Russian Languages Summary

The article deals with borrowings in Lithuanian and Russian in terms of their semantics and derivational structure. The data for analysis is collected from the Internet and the mass media. The focus of attention is on both the borrowed words which have already found their place in the lexical systems of Lithuanian and Russian and on the words which do not have numerous occurrences in the language systems. The following borrowings, which passed into lexical systems of Lithuanian and Russian, are discussed in the article: *fine, super, turbo, top, sexy, nostalgia, moderator, art, google, egosurfing*. The differences and similarities of the same borrowings in Lithuanian and Russian are analyzed and described.

Borrowed words change their meaning, get derivational suffixes and inflections, and serve as the base for other derivatives. As the result the languages are enriched with the new words, which also become homonyms and synonyms with native words.

Key words: *Russian lexis, Lithuanian lexis, borrowings, semantics, word building.*

Изольда Генене

Вильнюсский педагогический университет (Литва)

gen.i@vpu.lt

Некоторые наблюдения над литовским и русским сленгом

В современном живом языке, в художественной литературе, в газетах, журналах, на телевидении и в других средствах массовой информации (СМИ) встречаем много слов, именуемых терминами: сленгом, жаргоном, профессионализмами, «модными» словами, табу, вульгаризмами и др., семантика, структура и прагматика которых вызывает научный и практический интерес. Хотя ненормативная лексика интересовала разных лингвистов, многие вопросы, связанные с ней, тем не менее, требуют дальнейшего изучения. Следует отметить также, что многие исследователи данного языкового пласта в разных языках, как правило, не отличают сленгизмы от жаргонизмов, слов табу, вульгаризмов и других типов ненормативной лексики (Э. Партидж, 1971; И. Юганов, 1977; Р. Спэарс, 1991; И-Б. Костинас, 1992; Т. Г. Никитина, 2003; И. Голуб, 2003; В. Новиков, 2005, Р. Н. Менон и мн. др.). В литовской филологии работы в области ненормативной лексики немногочисленны. Внимания заслуживает диссертация И. Легаудайте, исследующая молодёжный сленг (2002; о ней несколько ниже). В 2007 г. издан «Малый словарь литовского жаргона», составленный Э. Зайкаускасом, в котором все виды ненормативной лексики относятся к жаргонизмам (включая бранные, сексуально-эротические слова, табу, вульгаризмы и т.п.)

Данная статья преследует следующие цели:

1. выделить сленгизмы из других видов ненормативной лексики и дать им определение;
2. рассмотреть и сопоставить некоторые структурно-семантические особенности сленгизмов в литовском и русском языках;
3. сделать некоторые общие социолингвистические и стилистико-прагматические выводы об употреблении сленга.

Вопрос об определении собственно сленгизмов как особого вида ненормативных слов представляется весьма важным, поскольку сленг отличается от других разговорных слов по своим социолингвистическим и стилистико-прагматическим функциям.

Описывая ненормативную лексику, исследователи выдвигают разные критерии определения сленга: социальные, психологические, стилистические, прагматические и др. Так, британский исследователь Д. Аберкромби писал, что формы речи определяют социальные группировки и помогают понять загадочный феномен сленга. Он определяет сленг как формы языка, употребляемые среди людей близкого окружения, группы, людей, которые непринуждённо или интимно общаются («болтают») друг с другом. Исследователь отграничивает сленг от жаргонизмов и от повседневных технических терминов [т.е. профессионализмов – И. Г.], употребляемых, например, в области спорта и других сферах человеческой деятельности, где профессионализмы, заменяющие формальные научные или специальные термины, просто необходимы (1957: 6-7). Так, например, при монтировании окон новые ступенчатые механизмы в речи профессиональных рабочих называются *крокодилами*; в мореходстве переднюю часть судна называют *бульбой*.

Аберкромби, русский лингвист И. Р. Гальперин (1981: 104) и некоторые другие исследователи тоже отличают сленг от жаргона (англ. *cant*, фр. *argo*, русск. «блестящая музыка»), употребляемого в качестве секретного кода в более замкнутых группах общества, как, например, во флоте, в армии, а также среди членов преступного мира.

С нашей точки зрения, к сленгу, в определённой степени, примыкают некоторые слова близкие к профессионализмам, обозначающие принадлежность к сплошённой профессиональной и идейно-эмоциональной группе. Так, в речи футболистов и широкого круга любителей футбола много сленговых выражений, понятных практически всем (как, например, *двуногий* значит «одинаково хорошо играющий правой и левой ногой»). Однако в футбольном сленге также много слов, понятных в большой мере только футболистам и их фанатам, таких, например, как *собака* – «агрессивный защитник»; *шмонать* – «объискивать зрителей перед входом на стадион» (о милиции); *утюг* – «человек, спекулирующий билетами на футбольный матч». Такие слова более близки к жаргонизмам, но, возможно, часть их со временем может перейти в группу общеупотребительного сленга.

Описывая сленг, многие лингвисты не предлагают его определения, выдвигая лишь некоторые характерные черты.

Исследуя молодёжный сленг, И. Легаудайтэ предлагает социальную модель сленга как психосоциального феномена и спра-

ведливо отмечает его идентифицирующую функцию, т.е. солидарность с определённой подростковой / молодёжной группой, враждебность к другим группам, иногда отмеченную грубостью, порой юмористической или иронической оценкой, передразниванием, эмоциональной и сексуальной направленностью. Сленг связан с социально-культурной обусловленностью. Легаудайте разделяет сленг на две группы – нейтральный и развращённый. Эксперимент с использованием сопоставительного и контрастного анализа, проведённый среди каунасской и лондонской молодёжи, подтвердил вышеуказанные черты сленга. Разница между этими двумя группами обусловлена их социокультурными особенностями.

Однако в информативной и интересной работе Легаудайте не уточняется, чем сленг отличается от жаргона и других видов бранной лексики. Таким образом, возникает вопрос: чем, собственно, сленгизмы выделяются в составе ненормативной лексики?

В данном исследовании сленгизмы рассматриваются как отдельная группа по отношению к бранным словам и сексуально-эротической табуированной лексике, собственно жаргону как закрытой и секретной лексике, а также по отношению к профессионализмам, которые функционируют как «рабочие» слова, заменяющие официальные или научные термины в определённых профессиональных кругах.

Поскольку для определения феномена сленга представляет интерес его употребление не только в подростковых, молодёжных, но и в старших возрастных группах, мы рассматривали и сравнивали сленг в речи информантов разного возраста.

Для определения сленга, в отличие от других типов ненормативной лексики, я опиралась на свои наблюдения над английским сленгом (в 1962-1963 и 2003-2006 г.г. в Англии и в 2005-2008 г.г. над речью литовской и русской молодёжи и взрослых носителей языка).

Отграничиваая сленгизмы от жаргонизмов, профессионализмов, вульгаризмов и бранных слов, в данной работе использовались коммуникативно-контекстуальные, социолингвистические, прагматические и стилистические критерии регистра, разработанные в 60-е гг. прошлого столетия такими английскими и американскими лингвистами, как М. Джоос, 1962; Дж. Спенсер и М. Грегори, 1976; Д. Кристал, 1970 и др. Критерии регистра включают такие величины, как сфера дискурса (field of discourse),

манера (тон) дискурса (manner, tenor of discourse), устная или письменная форма дискурса (mode of discourse).

Употребление сленга в большинстве случаев не ограничивается какой-либо социальной сферой языка. Очевидно, что сленг характерен, прежде всего, для повседневной разговорной речи, хотя в СМИ и в художественной литературе он встречается весьма часто. При выделении сленга следует подчеркнуть его использование в непринуждённом или интимном дискурсе, в контексте неформальных ситуаций, среди друзей, однокашников, в близком или узком кругу. *Теория регистра* объясняет вариативность форм языка в зависимости от контекста ситуации и стиля общения (П. Стревенс, 1965). Контекст включает отношения между говорящими, их индивидуальные особенности, образование, общественное положение, возраст, пол, эмоциональные особенности индивидуума. Джоос писал, что одно и то же сообщение может быть выражено по пятиступенчатой шкале формальности: от скованно-ледяной, официальной, нейтрально-консультативной до разговорно-непринуждённой и интимной манеры общения. Сленг принадлежит именно к двум последним ступеням регистра, характерным для повседневного непринуждённого разговора. Принимая во внимание указанные условия, в данной работе мы предлагаем следующее рабочее определение: *сленг* – это экспрессивные ненормативные разговорные слова и словосочетания, заменяющие ненормативную лексику (напр., *загореть* – забеременеть; *тискать клаву* – печатать на клавиатуре), новообразования, сокращения или лексические единицы в новом значении, употребляемые в контексте неформальных ситуаций, в тесном товарищеском кругу с целью поиска своей интонации, новшества, игривости, из склонности к словотворчеству, альтернативности самовыражения, юмористически-иронической или грубовато-критической окраски.

Типологическое и сопоставительное исследование литовского и русского сленга в структурно-семантическом плане показало изоморфные соответствия в обоих языках. В литовской и русской речи могут употребляться переосмыслиенные общенародные слова в новом, сленговом значении, например: *sukramtyti* – понять; *нахать* – усиленно работать. Некоторые из этих слов многозначны:

в лит. яз.: *kalti* - 1. быть, ударить; 2. (*ikalti*) – пить спиртное; 3. употреблять наркотики; 4. зубрить; 5. вбить гол.

В русск. яз. слово *абзац* обозначает три затяжки при курении («Всё, ещё один абзац и забычуешь»); 2. неодобрительное о чём-либо ком-нибудь («Что ты нацепила? Какой-то абзац!»); 3. нечто особенно выдающееся («Я ещё такого абзаца не видела»); 4. конец, крах («Абзац твоим денежкам!»); 5. междометие, выражавшее досаду, раздражение («Абзац! Наверное, каблук отвалился») (примеры из Менона, 2006, №3).

Как в литовском, так и в русском языке много заимствованных слов. В литовском языке сленгизмы образуются из русских и английских слов, например, из русск.: *apsipazoriuoti* – опозориться, *dalampočki* – неважко, *prikolas* - шутка, *stukačius* – предатель, стукач, *kietas* - сильный, строгий, *krūtas* – дорогой; заносчивый; из англ.: *brodas* - центральная улица, *pabas* – бар.

Интересно заметить, что в литовском языке больше заимствованных сленгизмов из русского языка даже у той части молодёжи, которая в настоящее время английский язык знает лучше русского.

В русском языке много сленгизмов образовано от английских слов, например: *мэн* – мужчина, молодой человек, партнёр; *лукать* – смотреть; *синговать* – петь; *скинхед* – бритоголовый. Сленгизмы обильно используются в интернет-среде, например: *засейвить* – сохранить; *конвертнуть* – перевести в другой формат; *трабл* – техническая неполадка; *смерть вам!* – модем Smart One и др.

В обоих языках постоянно появляются неологизмы, например, в лит. яз.: *klynabirbis* - мотоцикл, *zūza* - лицо; в русск. яз.: *устаканиться* – (о ценах) установиться («К концу года цены устаканятся – доллар за стакан», АиФ, 2008, 16).

Широко используются сокращённые, усечённые формы и новые аффиксальные образования. В лит. яз.: *cyza* – сигарета, *stipkė* - стипендия, *špera* - шпаргалка, *ret du* – пятьдесят два, *studžius* – студент, *skaitalas* - чтиво, *žiūralas* – плохая программа или спектакль. В русск. яз.: *юс* – США (от United States), *мед* – медик, медицинский институт.

В обоих языках существуют сленговые фразеологизмы: *uždaryti stalčių* – закрыть рот; *тискать клаву* – печатать на клавиатуре.

В обоих языках встречаются сленговые соответствия – заимствования: в русск. – *откат*, *бабки*, *фазенда*, *кайф*, *фонарь* (синяк под глазом); в лит. – *atkačas*, *babbkės*, *fazenda*, *kaifas*, *fanaras* и др.

Употребление и понимание сленга в обоих языках проверялось нами при опросе информантов возрастных групп. В

эксперименте информанты (ученики, студенты и люди разных профессий со средним и высшим образованием) были разделены на три группы: 1-я группа (от 15 до 22 лет), 2-я группа (от 23 до 45 лет) и 3-я группа (от 45 лет и старше). Информантам всех групп были предъявлены списки сленгизмов (по 80 единиц из каждого языка, зарегистрированных в словарях и встречающихся в СМИ и в живой речи).

Приведём несколько примеров. В списке популярных литовских сленгизмов были следующие слова: *atkatas* - незаконно полученные проценты; *atsijungti* - отмежеваться от определённой среды, потерять сознание; *apsinešti* - опьянеть, *blondinė* - красивая, но глупая женщина; *išdurti* - обмануть; *išesti* - выбросить с работы; *kiečias* - строгий, знающий своё дело; *kaliuzė* - тюрьма; *kompas* - компьютер; *mobilakas* - мобильный телефон; *siaubiakas* - фильм ужасов; *spinta* - сильный, мускулистый мужчина; *šutvė* - компания (пренебреж.); *sukišti* - испортить дело, взбудоражить мысли; *užknisti* - надоесть; *užkalti* - заработать; *varyti* - ехать, оклеветать кого-либо; *vierchas* - лидер, вожак; *žali* - доллары; *žqsinas* - дурак; *praplauti sielos langus iš vidaus* – напиться и др.

Русскоязычным информантам были предложены следующие сленгизмы: *абзац* (значение см. выше), *батоны топтать* – работать с мышью компьютера; *ишачить* – тяжело работать; *блатняк* – уличный фольклор; *еврики* – евро; *зелёные* – доллары; *бомбить* – играть на музыкальных инструментах, зарабатывать извозом на собственной машине; *махаловка* – жестокая драка; *мент* – милиционер; *мокруха* – криминальное происшествие с убийством; *мыльник* – неквалифицированный арбитр, судья; *ремонт* – дурак; *крутой, железный, клёвый* – одобрительно о чём-либо; *тухляк* – что-то скучное; *феня* – шутка, зад; *тёмная* – тюрьма; *загорать* – не работать, лентяйничать; *фишка* – афиша, реклама и др.

С целью выяснения степени понимания и употребления сленгизмов в непринуждённых ситуациях в «своём кругу» информантам были предложены следующие утверждения:

1. Употребляю данные слова в разговоре – (Да / Нет)
2. Могу изредка или иногда употребить – (Да / Нет)
3. Данных слов вообще не употребляю, поскольку это не свойственно моей речи.
4. Не знаю значения этих слов.

Опрос показал, что употребление сленга в отдельных возрастных группах и отношение к нему неоднозначно.

В 1-ой возрастной группе, представленной в основном старшеклассниками и студентами, литовскоязычные и русскоязычные информанты употребляли сленг приблизительно в равной мере (соответственно по 85-90 % и 70-75 % предъявленных слов). Общее отношение к сленгу было позитивным, а употребление носило спонтанный характер, обусловленный привычкой, и преследовало цель сделать общение в своём кругу более эмоциональным. Около 20% информантов отметили, что представленные в списке слова не употребляли - некоторые принципиально, другие просто потому, что не понимали их значения. Последнее особенно характерно для русскоговорящих в Литве, т.к. они не всегда знакомы со сленгом, употребляемым в городах России.

Во 2-ой группе (от 23 до 45 лет) 80 % информантов – носителей обоих языков – иногда употребляли около 50-60 % предъявленных сленгизмов с целью создания атмосферы непринуждённого общения и придания большей эмоциональности высказываниям.

В 3-й группе (от 45 лет и старше) половина опрошенных употребляли гораздо реже, около 20-30 % предъявленных сленгизмов с целью разрядки или просто по старой привычке.

Таким образом, факторы возраста (и, несомненно, образование) влияют на степень употребляемости и отношение к сленгу: с возрастом и большим вниманием к качеству речи употребление сленгизмов снижается.

Сленг стареет. Слова, которые были популярны 20-30 лет назад, редко употребляются сегодня (особенно в молодёжной среде). Такое широко употребляемое раньше литовское слово, как *šakės* – 1. конец, плохо; 2. хорошо, удачно, прекрасно – всё реже слышится в речи. То же самое случилось и с русским *стилягой* и др. Вместо устаревших слов появляются новые (напр., *абзац*), чаще используются варваризмы. Словари сленга постоянно дополняются новыми единицами.

Отношение лингвистов к сленгу также неоднозначно. От опасности злоупотребления сленгизмами, жаргонизмами предостерегают многие лингвисты и более чуткие носители языка. Л. А. Новиков и др. утверждают, что жаргонным словам [в данном случае имеется в виду сленг и другая ненормативная лексика – И. Г.] присуща экспрессивно-стилистическая окраска. Очевидно, что культурные, образованные люди всё же не злоупотребляют жаргонной лексикой. Исследователи русского языка (например, В. Н. Суздалицева, 2003) пишут, что что СМИ,

выполняя пропагандистские функции, пропагандируют не только идеи, взгляды, но и язык, воспитывая тем самым у читателей дурной вкус и низкую языковую культуру (см.: Менон, 36-37).

Следует согласиться с тем, что употребление, варваризмов, вульгаризмов, бранных и просто неприличных слов, таких, как *čiuvakas*, *dročinti*, *prikolas* и т.п. в лит. яз., и *фиговый, жертва* (некрасивая женщина) и др. в русск. языке, а также чрезмерное использование сленгизмов портит, извращает и обедняет речь. Однако следует признать и другое. В различных языках говорящие стремятся к игре со словами, к словотворчеству, новизне, более экспрессивному выражению различных понятий. Одна из причин употребления сленга – усталость от традиционных изречений (Аберкромби, 1957: 6). Британский лингвист Р. Квэрк назвал сленг «поэзией простого человека». И. Голуб и другие лингвисты отмечают, что введение ненормативной лексики в литературный язык допустимо для речевых характеристик персонажей (2003, 85). Отмечают, что сленг представляет собой факт языка. Иногда некоторые сленгизмы называют «жемчужинами речи» (Якайтене, 1980), ненормативными словами, способными выразить разные оттенки отношения: фамильярность, грубость, иронию и др. (Пикчилингис, 1975; Жуперка, 1983 и др.) Некоторые из опрошенных информантов сравнили сленг с «приправой к пище».

Существующие словари и работы по сленгу показывают, что он, употребляемый в большей или меньшей степени, всё же является неотъемлемой частью общенародного языка.

Следует отметить, что русский сленг шире и богаче представлен в словарях и справочниках, чем сленг литовского языка. Показательно также и количественное превосходство сленгизмов в русской речи разговорно-фамильярного регистра и в СМИ. Употребление сленга в определённых повседневных ситуациях и в литературе иногда может быть стилистически, эмоционально и экспрессивно оправдано и даже способно обогатить высказывание. Но сленг надо употреблять умело, с чувством меры, не ущемляя корректности общения. В противном случае говорящий и адресат могут оказаться в неловком положении.

ЛИТЕРАТУРА

- Белов Н. В. *Словарь молодёжного и интернет-сленга*, 2007, Минск: Харвест.
- Голуб И. *Стилистика русского языка*, 2004, М.: Айрис-пресс.
- Никитина Т. Г., Рогова Е. И., 2005, *Футбольный словарь сленга*. М.: Аст-рель.
- Менон Р. Н. Некоторые особенности современного русского сленга, 2006, // *Вопросы филологии*, № 6
- Новиков В., 2005, *Словарь модных слов*. М.: Зебра.
- Abercrombie D., 1957, *Problems and principles*. London – New-York – Toronto: Longman.
- Galperin J. R., 1981, *Stylistics*. M.
- Jakaitienė E., 1980, *Lietuvių kalbos leksikologija*. Vilnius: Mokslo.
- Légaudaitė J., 2002, *Jaunimo slengas – Psicho-socialinis fenomenas*. Daktaro disertacijos santrauka. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
- Pikčilingis J., 1975, *Lietuvių kalbos stilistika*. Vilnius.
- Vitonytė-Genė I., 1967, On the Use of Contemporary English Slang. // *Kalbotyra*. Vilnius.
- Zaikauskas E., 2007, *Kalbos paribai ir užribiai*. Lietuvių žargono žodynėlis. Vilnius: Alma Literara.
- Župerka K., 1983, *Lietuvių kalbos stilistika*. Vilnius: Mokslo.

Some Observations on the Contemporary Lithuanian and Russian Slang Summary

The present paper deals with the problem of distinguishing and defining slang among other types of sub-standard lexis, such as jargonisms, professionalisms, vulgarisms and taboo words. Observations and experiments concerning Russian and Lithuanian slang are based on sociolinguistic, psychological, pragmatic, structural and stylistic parametres. For theoretical purposes the paper also touches upon some typological contrastive features of Lithuanian and English slang.

Key words: *substandard lexis, slang, jargonisms, professionalisms, vulgarisms, register, tenor (tone, manner), situation of discourse, typological and contrastive features.*

Юозас Юркенас

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
burenina@one.lt

Ономастика как фрагмент лингвистической палеонтологии

Проблемы методологии ономастического исследования

«Из каждого слова, которое мы употребляем, глядит на нас не сорок веков, а по меньшей мере сорок тысячелетий... Воссоздать до конца историю хотя бы одного слова – это значит приобщиться к раскрытию тайны всей человеческой речи и мышления» (В. И. Абаев; цит. по Маковский, 1989, 6). Собственные имена – это особая группа слов. В сфере собственных имен наиболее отчетливо проявляется взаимодействие языка и культуры, единицы данной группы слов обычно воспринимаются как знаки, имеющие то или иное отношение к судьбе человека. Многие собственные имена возникли в глубокой древности – они нередко древнее самых древних вещей, хранящихся в музеях. Этимологическое исследование собственного имени (= попытка воссоздать его историю) как правило, сложнее, чем соответствующее изучение апеллятива, а выводы, которые делаются на основе такого исследования, обычно в меньшей мере аргументированы, чем при анализе нарицательной лексики. Дело прежде всего в том, что сравнение собственного имени и апеллятива или же двух собственных имен строится лишь на основе сходства формальной части. Поэтому ономастика становится нескончаемой дискуссией о тех собственных именах, которые уже не имеют бесспорной и однозначной связи с апеллятивной лексикой. В ономастическом исследовании постоянно наблюдаются попытки использовать какие-то новые приемы изучения собственных имен, обнаружить новые источники информации. В этом ряду поисков особого внимания заслуживают следующие соображения, породившие целые направления ономастических исследований.

Известный литовский языковед К. Буга в одной из своих последних работ обращает внимание на то, что в сравнительной потамологии (рековедении) следует поступать так, как делается в сравнительном (этимологическом) словаре любого типа. В этимологическом словаре сравниваются слова, т.е. нарицательные имена (appellativa), а в потамологии названия рек (озер) должны

сравниваться с названиями рек (озер), т.е. с собственными именами (*propria*). И только тогда, когда будут сопоставлены названия рек того же происхождения и определено их географическое распространение, будем иметь право искать этимологию исследуемого названия, которая представляет собой сопоставление с нарицательными именами (Büga, 1961, 510). Украинский исследователь А. А. Белецкий решение данной проблемы представляет так. «...При классификации ономастической лексики в отношении времени, места, языка и культуры мы дополняем созданную Ф. Де Соссюром терминологию и наряду с противопоставлением (1) синхронии и диахронии вводим противопоставления: (2) синтопии и диатопии, т.е. есть принадлежность элементов одному и тому же ареалу или же разным ареалам, (3) синглотии и диаглотии, т.е. есть принадлежность элементов одному и тому же языку или разным языкам, (4) синциклии и диациклии, т.е. есть принадлежность элементов одному и тому же культурному кругу или разным культурным кругам. Таким образом, первой задачей исследования ономастического материала должно быть хронологическое, географическое, лингвистическое и циклическое расположение материала, подлежащего изучению» (Белецкий, 1972, 31 – 32).

Весьма тщательный и довольно квалифицированный анализ гидронимов в работах Х. Краэ и В. П. Шмида, проведенный, разумеется, совершенно самостоятельно, практически стал претворением в жизнь тех идей, о которых мечтал в последние годы своей жизни К. Буга и пытался дать свою формулировку А. А. Белецкий. Явление, которое в работах Х. Краэ представлено под названием «древнеевропейское», а в исследованиях В. Шмида обозначено рядом синонимов: «древнеевропейское» = «индоевропейское» = «праязыковое (*voreinzelsprachlich*)», в настоящее время рассматривается как общеизвестный факт (ср. H. Krahe, 1954, 49 – 64; W. Schmid, 1972, 1 – 18; 1973, 189 – 194; 1976, 115 – 122). Практически это значит признание существования соответствующих по своей форме гидронимов, расположенных в разных частях европейского континента, напр.: *Saale* (Германия), *Sala* (Норвегия), *Salia* (Испания), *Sala*, *Salantas* (Литва), *Sala*, *Salate* (Латвия) и т.д.

В одной из работ З. Зинкевичюса идет речь о том, что большинство балтийских этнонимов следует воспринимать как единицы гидронимического происхождения (Zinkevičius, 2005, 72 – 77). Указанный вывод делается на основе наблюдений ряда языковедов. Можно, конечно, разделять или не разделять эту точ-

ку зрения, однако, прежде всего здесь привлекает внимание тот очевидный факт, что **почти все названия балтийских этносов отражены в другом разряде собственных имен – в гидронимии**. Признание этого факта становится стимулом к поискам ответа на новые вопросы.

Языковеды, которые занимались исследованием балтийской гидронимии, обычно отмечают ее архаичность и говорят о ее близости к праиндоевропейскому состоянию. В. Н. Топоров, а также Ю. Лаучюте обратили внимание на весьма интересные параллели в сфере этнонимии, ср.: *sēliai* (балтийское племя) || фракийское племя *Selletes*, топоним $\Sigma\delta\lambda\lambda\iota\iota$, $\Sigma\delta\lambda\mu\beta\varphi\alpha\iota\alpha$; антропоним $\Sigma\delta\lambda\mu\zeta$; *galindai* || город во Фракии *Kalindoia*, *Kalindia*; *prūsai* || фракийские топонимы *Brussa*, *Проуза*, *Проуспиос*, *Вроуспаеус*, *Prusensis*, антропоним *Prusias*, кельтский топоним *Prausi*, германские этнонимы *Frūsja*, *Frisii* и т.п. (Lauciūtė, 1988, 58). Приведенные факты дают основание думать о том, что балтийская этнонимия, так же как и гидронимия, представляет собой группу весьма архаических единиц, отражающих древнейшие связи с соответствующими собственными именами родственных языков. Иначе говоря, по крайней мере, какая-то часть балтийских этнонимов может быть отнесена к древнейшему слою названий этносов европейского континента.

Результаты развития гидронимии В. П. Шмид изображает следующим образом: а) древние гидронимы иногда сохраняются без изменений или почти без изменений; б) иногда в сознании говорящих возникают новые ассоциации, т.е. определяются новые отношения между собственным именем и апеллятивной лексикой; в) иногда старые гидронимы вообще выходят из употребления (заменяются новыми) (Schmid, 1998, 151). При анализе развития антропонимии можно говорить о тех же процессах, разница лишь в том, что группа древних неизменившихся единиц здесь будет сравнительно небольшой, а новые имена (группа в) будут составлять подавляющее большинство. Аналогичную мысль выражают Н. И. Толстой и С. М. Толстая, отмечающие явление семантизации имени, которые достигаются двумя противоположными способами: вовлечением апеллятивов в ономастикон, т.е. онимизацией апеллятивов, и народной этимологизацией собственно ономастической лексики (по кн. Гурская, 2007, 36).

Известный немецкий языковед А. Бах в своем капитальном труде *“Deutsche Namenkunde”* обращает внимание на то обстоятельство, что при анализе собственных имен очень часто перед

исследователем встает целый ряд возможных решений. Здесь приходится говорить о конкуренции или иначе о пересечении толкований (Deutungskreuzungen) (Bach, 1952, 236).

Все вышеупомянутые соображения разных языковедов, а также наши наблюдения дают основание думать о том, что в **ономастическом исследовании** следует иметь в виду возможность пересечения разных рядов собственных имен: гидронимии, этнонимии, антропоними и т.д. То обстоятельство, что соответствующее собственное имя находится в зоне пересечения нескольких онимических рядов (= выступает как гидроним или его основа, как этноним, как антропоним или его компонент) следует воспринимать как показатель его архаичности. Сам факт пересечения нескольких онимических рядов приобретает еще большую значимость в том случае, когда использование соответствующего собственного имени не ограничивается рамками одного языка или одной группы языков.

Поскольку этнонимия представляет собой сравнительно немногочисленную группу собственных имен, то нередко наблюдается использование тех же основ в сферах гидронимии, топонимии и древней антропонимии. Наличие таких единиц в онимии нескольких групп индоевропейских языков также следует считать признаком их архаичности. При их анализе рационально иметь в виду возможность общего происхождения на определенном этапе развития индоевропейской онимии, не забывая при этом о тех процессах, которые позже могли происходить в сознании говорящих, использующих соответствующие собственные имена. Имеем в виду возникновение новых ассоциаций, т.е. определение новых отношений между собственным именем и апеллятивной лексикой (= возникновение народной этимологизации).

Для того чтобы наши соображения были представлены как мысли, возникшие на основе анализа достаточно большого количества собственных имен, необходимо привлечение соответствующих материалов, т.е. необходимо изображение наших рассуждений языком фактов.

Некоторые основы собственных имен на фоне онимического ландшафта европейского ареала
Barta (< *Bartha*)... Одна из частей Пруссии.

Гидронимы: лит. *Bartis*, *Bartuva*, *Bart-upė* (Vanagas 1981: 59), Верхнее Поднепровье Борча (Топоров, Трубачев, 1962, 177), куршск. *Barthowe* (Топоров, 1975, 200).

Антропонимы: др.-прусск. *Sam-barte, Barthene, Bartiko, Bartucke, Bartuths* (Trautmann, 1925, 133); лит. *Bart-minas, Dau-bartas, Ky-bartas, Kim-bartas, Liu-bartas, Liū-bartas, Bartas, Bartaitis, Bartašius, Bartelis, Bartys, Bartkelis Bartkevičius, Bartkus, Bartulis, Bartušis*; нем. *Bart-olfs, Bart-old* (Bach 1952: 236); белор. *Барташ, Бартонь, Бартко, Бартуш* (Бірыла 1966: 38); польск. *Barta, Barto, Bartak, Bartek Bartel, Bartkowicz, Bartos, Bartosz, Bartul, Bartusz, Bartys, Bartysz* (Rymut, 1991, 80 – 81); др.-русск. *Бортень, Бортеневы: Бортень, холоп, средина XV в., Звенигород; фамилия Бортеневых известна с последней четверти XV в.; в XVII в. и позже – Бартеневы; Бортиковы 1430 г.* (Веселовский, 1974, 47).

Топонимы: лит. *Ky-bartai, Kim-bart-iškė, Liu-bartai, Bartačiai, Barteliai, Bartkai, Bartkūnai, Bartoniai*, в Германии *Barth* (PV, 2006, 48).

Включение в этот ряд польских и белорусских антропонимов с основой *Bart-* может показаться не вполне аргументированным. Имеем в виду не только толкование, предлагаемое исследователями польской и белорусской антропонимии: по их мнению, антропонимы с основой *Bart-* возникли на базе христианского имени *Bartholomaeus*. Краткие *a*, *o* в балтийских языках были отражены как *a*, а в славянских как *o*. Следовательно, балтийская основа *Bart-* в славянских языках должна была иметь форму *Bort-*: ср. гидроним *Борча* (<* *Bortja*) в Верхнем Поднепровье или же др.-русск. антроним *Бортень* (= др.-прусск. *Barthenne!*).

На наш взгляд, польские и белорусские собственные имена с основой *Bart-* – это результат включения древних антропонимов в ряд производных единиц, образованных на базе христианского имени *Bartholomaeus*. Имеем в виду возникновение новых ассоциаций, обусловленных соприкосновением древних антропонимов и новых имен, появившихся в связи с принятием христианства. Такое переосмысление древних антропонимов стало фактором, определившим соответствующее оформление польских и белорусских имен, а также причиной изменения, представленного в примечании С. Б. Веселовского: «Фамилия Бортеневых известна с последней четверти XV в.; в XVII в. и позже – Бартеневы». Такое изменение восприятия стало причиной сохранности древних единиц, содержащих в своем составе основу *Bart-*. О том, что балтийская основа *Bart-* является компонентом древних дохристианских имен, свидетельствует ее использование в составе сложных антропонимов индоевропейского типа: др.-прусск. *Sam-barte*, лит. *Bart-minas, Dau-bartas, Ky-bartas* и т.п.

Интерес представляет предположение авторов хроник XVI в. Эразмуса, Стеллы и Симона Грунау, которые считали, что название описываемой ими Бартонии возникло на базе антропонима (имени сына Вайдевутиса *Барта*) (Salys, 2001, 194). По крайней мере, здесь ясно одно: уже в XVI в. составители хроник обратили внимание на тот факт, что основа описываемого этнонима имеет бесспорное соответствие в другом разряде собственных имен – в антропонимии.

Весьма оригинальны и любопытны соображения немецкого исследователя А. Баха, которым был поставлен вопрос о возможности нескольких источников порождения антропонима *Barth*: а) данное собственное имя может быть единицей, возникшей на базе древних сложных имен *Bart-olfi* и *Bart-oldi*; б) носители данного имени могут быть потомками человека, который жил в доме *um Barte* (*domus que dicitur Bart* в Кёльне по записи 1197 г.); в) антропоним мог возникнуть на базе прозвища человека с Бородой (*mit dem Barte*); г) носители данного собственного имени могут быть потомками человека, переселившегося из города *Barth* в Померанию (Bach, 1952, 236).

Попытка разобраться в том, что закодировано в приведенных материалах, и учет некоторых рассуждений языковедов дает основание думать о том, что компонент *Bart-* прежде всего следует считать единицей древней онимии. Однако длительное функционирование и соприкосновение с собственными именами другого характера кое-где изменило ее восприятие, появились новые ассоциации, были определены новые связи.

Séliai – восточнобалтийский этнос (= *Selones* в хронике начала XIII в. на латинском языке; *Selen* в немецкой хронике конца XIII в.).

Главной параллелью следует считать название фракийского племени *Selletes*.

Гидронимы: лит. *Sél-iupys*, *Sél-iupis*, *Séliné* (болото), лтш. *Sellite* (Vanagas, 1981, 295).

Антропонимы: лит. *Sel-monas*, *Sel-man(avičius)*, *Sel-eikis*, *Selenis*, *Sélenta*, *Selevičius*, *Sélintas*, *Seliokas*, *Seliukas*; лтш. *Sele*, *Sellick*, *Sellit*, *Sellon* (Blese, 192, 245); др.-прусск. *Selune* (Trautmann, 1925, 91); фрак. Σήλιος (Detschew, 1957, 438); иллир. *Selio* (Krahe, 1929, 146); герм. *Seli-bert*, *Seli-gast*, *Seli-ger*, *Seli-man*, *Seli-wib*, *Sel-wich*, *Sello*, *Selle* (Fürstemann, 1856, 1068 – 1070; Kaufmann, 1968, 301; Schönfeld, 1965, 197); кельт. *Selion*, *Selius*, *Sellius*, *Sellia*, *Sello* (Holder, 1896, II, 1461 – 1462); в списках антропонимов и.-е. народов Малой Азии Σελλίς с примечанием составителя: это имя следовало бы воспринимать

как латинское *Sellius*, так как в антропонимии и.-е. племен Малой Азии параллелей нет (Zgusta, 1964, 460); белорусск. Сел, Селін, Сяюк, Сялюп, Сялюта (Бірыла, 1966, 147); др.-русск. Селех, Селин, Село (Веселовский, 1974, 284).

Топонимы: лит. *Sélė*, *Séleniai*, *Sélynė*, *Séliškės*, *Selmoniškiai*, в Латвии *Sēli*, в Норвегии *Selje* (PV, 2006, 381).

Salii – этнос, обитавший в провинции *Sal-land* (Нидерланды) (Schönfeld, 1965, 197 – 198).

Гидронимы: *Sala* (в Норвегии), *Salia* 998 > *Saja* (в Испании), *Saale*, *Salm* (в Германии), *Sala* > *Zala*, *Szala* (в Венгрии), *Sala*, *Saliné*, *Sal-upis*, *Salakas*, *Salantas*, *Salotis*, *Salotas* (в Литве), *Sala*, *Salainis*, *Salate* (в Латвии), Соленка, Солица, Соля (Верхнее Поднепровье) (Krahe, 1964, 50; Vanagas, 1981, 287 – 289; Péteraitis, 1992, 150; Топоров, Трубачев, 1962, 208 – 209).

Антропонимы: лит. *Sal-man(aitis)*, *Sal-minas*, *Sal-minis*, *Sal-monas*, *Sal-noris*, *Sal-norius*, *Sala*, *Salata*, *Salenis*, *Salikas*, *Salynas*, *Salinka*, *Salys*, *Saliutis*, *Salmis*, в письменных памятниках Сол-кирд(овичъ) 1528 (Переписи, 1915, 84), Сол-тювт(овичъ) 1528 (Переписи, 1915, 225), *Solok* 1563 (Jablonskis, 1934, 680), *Solus* 1598 (Jablonskis, 1934 497); латышск. *Sallax*, *Sallack*, *Sallasz*, *Sallene*, *Sallyn Salit*, *Salme*, *Salm* (Blese, 1929, 240); др.-прусск. *Salanx*, *Sale*, *Salicke*, *Saluke* (Trautmann, 1925, 85); герм. *Sala-bald*, *Sala-gast*, *Sala-man*, *Sal-man*, *Salo*, *Sallo*, *Salaco*, *Salaho*, *Saleco*, *Salcho*, *Salinga*, *Saletho*, *Saliso*, *Salme* (Fürstemann, 1856, 1067 – 1070), *Salaverus* (Burgunder?), *Sala-mirus* (wgot.) (Schönfeld, 1965, 197); кельт. *Salama*, *Salanius*, *Salarus*, *Salasius*, *Salius*, *Salloni*, *Sallūca*, *Sallus*, *Salmo*, *Sala-verus*, *Soli-marus*, *Soli-mutus*, *Soli-rix*, *Soli-rīgus*, *sola*, *Solinus*, *Solitus*, *Solius*, *Sollius*, *Sollonius*, *Sollus*, *Solox* (Holder, 1896, II, 1298 – 1333, 1599 – 1612; Schmidt, 1957, 264, 271); фрак. Σαλας, Σαλλας, *Sola*, Σολα (Detschew, 1957, 412, 465); иллир. *Sallas*, *Sola*, *Solia* (Krahe, 1929, 144); в списках антропонимов и.-е. народов Малой Азии Σαλας, Σαλης, Σαλαμας Σαλμας (Zgusta, 1964, 451); др.-русск. Саларевы, Салман, Салов (Веселовский, 1974, 277 – 278); белор. Сальман (Бірыла, 1966, 143); польск. *Salman*, *Salma*, *Sala*, *Salach*, *Salacz*, *Salak*, *Saluk*, *Solak*, *Solik*, *Solis*, *Sollich*, *Solloch*, *Sotek* (Rymut, 1991, 236, 247).

Топонимы: *Sala*, *Salakas*, *Salantai*, *Salelē*, *Saliai*, *Saločiai*, *Salos*, *Salotē*, *Salučiai* (в Литве), *Salaspils*, *Saliena* (в Латвии), *Salina* (в Италии), *Salling* (в Дании), *Salonta* (в Румынии), Солы (в Белоруссии) (PV, 2006, 372).

Думается, что основы *sel-* и *sal-(sol-)* в составе приведенного множества собственных имен следует воспринимать как вари-

анты чередования по аблауту корня *sel- || *sol- (полная ступень || полная тембровая ступень); ср. соображение Э. Фёрстемана: краткие имена *Salia* или *Sallia*, *Salla* = д.-в.-н. *Sello*, н.-в.-н. *Selle* (Schönfeld, 1965, 7).

Определение связи компонента *sel-* || *sal-* с конкретными единицами известных языков является делом весьма сложным, а имеющиеся попытки это сделать нередко представляются неубедительными.

При анализе так наз. «древнеевропейских» гидронимов идет речь о том, что они не поддаются истолкованию на материале какого-нибудь одного известного языка. Так, например, гидронимы с основой *Sal-* X. Краэ ставит в ряд апеллятивов типа др.-прусск. *salus* «дождевой ручей», лат. *salum* «неспокойное море; течение реки» (Krahe, 1964, 49). Сюда можно добавить единицы того же гнезда: лит. *salti* «течь», *sala* «остров», а также формы другой ступени аблаута *selēti* «подстерегать; красться; ползать», *sēlīti* «красться, подкрадываться». Большинство литовских гидронимов, содержащих в своем составе основы *Sal-* или *Sel-*, А. Ванагас рассматривает как собственные имена, возникшие на базе единиц указанного гнезда родственных апеллятивов (Vanagas, 1981, 287 – 288, 295).

Основа *Sel-*, *Sal-* выступает в составе сложных антропонимов индоевропейского образца. А балтийские, германские и кельтские имена данного типа обычно рассматриваются как исключительно архаические образования (ср. Milewski, 1969, 216).

В исследованиях по германской антропонимии обычно речь идет о связи компонента *Sal-* с апеллятивами гнезда: д.-в.-н. *sal* «дом, жилище», *selida* «жилище, кров; содержание», др.-сакс. *seli* «дом, жилище» и т.д. (Schönfeld 1965: 197); к тому же ряду относятся также лит. (диал.) *sala* «село», ст.-слав. *selo* и т.п.

В словаре литовских фамилий подавляющее большинство единиц с основой *Sal-* рассматривается как собственные имена, возникшие на базе христианского имени *Salomon*, а при анализе данной основы в составе фамилий *Sal-noris*, *Sal-norius* содержится примечание «происхождение неясно» (LPŽ, 1989, 662 – 666).

Польские фамилии с основой *Sal-* в словаре К. Рымута объединяются в одну группу собственных имен, возникших на базе христианского имени древнееврейского происхождения *Salomon* (Rymut, 1991, 236).

Заключительные замечания

Наиболее сложным является анализ этнонимии. Известна способность этнонимов усваиваться носителями иного языка. Этнонимы относятся к числу тех древнейших образований, «которые пережили не один и не два языка, сменивших друг друга на данной территории» (Хабургаев, 1979, 96; Трубачев, 1959, 23).

Анализ собственных имен во многих исследованиях представлен в несколько упрощенном виде. Создается впечатление, что сначала формировалась нарицательная лексика, единицы которой потом легли в основу собственных имен. В действительности формировалась, развивалась и менялась не только апеллятивная лексика, но одновременно происходил процесс становления, развития и изменения онимии. Характер протекания двух указанных процессов (развития апеллятивной лексики и формирования онимии) далеко не всегда был абсолютно одинаковым. На развитие системы собственных имен нередко оказывали влияние такие факторы, которые в обычной лексике не оставили заметного следа. Поэтому многие попытки говорить о связи древнего антропонима с какой-то сходной по своей форме единицей нарицательной лексики современного языка не представляются достаточно мотивированными. Наши наблюдения дают основание думать о том, что мысль Х. Краэ и В. П. Шмида о наличии слоя так наз. «древнеевропейских» гидронимов может получить дальнейшее развитие. На наш взгляд, следует говорить не только о гидронимии, но **целесообразно иметь в виду возможность выделения древнеевропейского онимического союза как особой ареальной общности**. Наличие аналогичных по своей форме собственных имен, пересечение разных онимических рядов – это показатель архаичности соответствующих единиц, это **способ выделения древнейшего слоя собственных имен**. При этом, разумеется, необходимо иметь в виду сложность истории онимии. Вполне возможно, что основой образования собственного имени или его компонента послужил не один источник. Сходные компоненты, возникшие на базе нескольких источников, в результате конвергенции консолидировались в одну единицу. В отдельных случаях было возможно вторичное сближение с какими-то апеллятивами того языка, носителями которого использовалось данное собственное имя. Так, например, в антропонимии немаловажную роль сыграла волна христианских имен. Освоение нового имени происходило не просто посредством его механического включения в состав антропонимической системы, но и

путем сближения с имеющимися сходными антропонимами вплоть до полного попадания старых единиц в орбиту нового сходного по своей форме собственного имени. Представляется почти неизбежным пересечение множества антропонимов, содержащих в своем составе древнеевропейский компонент *Sal-*, и множества единиц, возникших на базе христианского имени *Salomon*.

Переплетение элементов разного происхождения является серьезным препятствием в изучении онимического материала. Попытки сопоставления собственного имени и какого-то апеллятива, а также указание на возможную связь с известным собственным именем иноязычного происхождения во многих случаях отражают лишь одну деталь того сложного явления, каким является пересечение нескольких рядов разных по происхождению и по времени появления, но сходных по своей форме собственных имен.

Думается, что наиболее рациональным приемом исследования онимии следует считать сформулированную К. Бугой исследовательскую процедуру, только с одним существенным дополнением. К. Буга писал об использовании данного исследовательского приема в рамках изучения названий рек (= в сравнительной потамологии). Наши материалы свидетельствуют о том, что все то, что предлагал К. Буга, должно быть отнесено к исследованию онимии вообще. Иначе говоря, исследовательская процедура может быть сформулирована так: в **ономастическом исследовании собственные имена прежде всего должны сравниваться с собственными именами; и только тогда, когда будут сопоставлены собственные имена того же ряда и определено их географическое распространение, будем иметь право искать этимологию исследуемого названия, которая представляет собой сопоставление с нарицательной лексикой.**

ЛИТЕРАТУРА

- Белецкий А. А., 1972, *Лексикология и теория языкоzнания* (Ономастика). Киев: Издательство Киевского университета.
- Бірыла М. В., 1966, *Беларуская антропанімія*. Мінск.
- Гурская Ю. А., 2007, *Древние фамилии современного белорусского ареала на славянском и балтийском фоне*. Минск: Министерство образования республики Беларусь.
- Веселовский С. Б., 1974, *Ономастикон*. Москва: Наука.

- Маковский М. М., 1989, Удивительный мир слов и значений. Москва: Высшая школа.
- Переписи 1915, *Литовская метрика*, отд. I, ч. 3. Переписи войска литовского. Петроград.
- Топоров В. Н., 1975, *Прусский язык. Словарь А – Д*. Москва: Наука.
- Топоров В. Н., Трубачев О. Н., 1962, *Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья*. Москва: Академия Наук СССР.
- Трубачев О. Н., 1959 *Лингвистическая география и этимологические исследования*. ВЯ, № 1.
- Хабургаев Г. А., 1979, Этнонимия «Повести временных лет». Москва: Издательство Московского университета.
- Bach A., 1952, *Deutsche Namenkunde*. Band I. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
- Būga K., 1961, *Rinktiniai raštai* 3. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.
- Detschew D., 1957, *Die thrakischen Sprachreste* (Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung, XIV). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Förstemann E., 1856, *Altdeutsches Namenbuch*, Bd. 1. Nordhausen.
- Holder A., 1896, *Alt-celtischer Sprachschatz*. II. Leipzig: Druck und Verlag von B. G. Teubner.
- Jablonskis K., 1934, *Istorijos archyvas*. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
- Krahe H., 1929, *Lexikon altillyrischer Personennamen*. Heidelberg. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung..
- Krahe H., 1954, *Sprache und Vorzeit*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Krahe H., 1964, *Unsere ältesten Flussnamen*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Laučiūtė J., 1988, *Senieji baltų etnonimai indoeuropietiškosios onomastikos fone*. *Baltistica* 24(1).
- LPŽ *Lietuvių pavardžių žodynus*, 1985 – 1989, T.1 – 2. Vilnius: Mokslas.
- Milewski T., 1969, Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław – Kraków.
- Péteraitis V., 1992, *Mažoji Lietuva ir Tranksta*. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
- PV, 2007, *Pasaulio vietovardžiai*. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
- Rymut K., 1991, *Nazwiska polaków*. Wrocław – Warszawa – Kraków.
- Salys A., 2001, *Baltų kalbos, tautos bei kiltys*. Vilnius: Baltos lankos.
- Schmid W. P., 1972, Baltische Gewässernamen und das vorgeschichtliche Europa. *Indogermanische Forschungen* 77 (1), 1 – 18.
- Schmid W. P., 1973, Aura und Aurajoki. *Baltistica* IX (2).
- Schmid W. P., 1976, Baltisch und Indogermanisch. *Baltistica* XII (2).
- Schmid W. P., 1998 Das baltische Zentrum in der alteuropäischen Hydronymie. *Baltistica* 33 (2).
- Schmidt K. H., 1957, *Die Komposition in Galischen Personennamen. Sonderabdruck aus Zeitschrift für celtische Philologie*. Band 26, Heft 1 – 4, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

- Schönenfeld M., 1965, *Wörterbuch der altgermanischen Personen und Völkernamen*. Heidelberg: Carl Winter.
- Trautmann R., 1925, *Die altpreußischen Personennamen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Vanagas A., 1981, *Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas*. Vilnius: Mokslo.
- Zgusta L., 1955, *Kleinasiatische Personennamen*. Praha.
- Zinkevičius Z., 2005, *Lietuvių tautos kilmė*. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Onomastics as a Fragment of Linguistic Palaentology

Summary

Proper names quite often represent relics of the most ancient epoch. In the article the attempt is made to open and to select such "linguistic excavation", to give the analysis of the limited quantity of the proper names and to state one's opinions. The main conclusion consists of the following. There is a basis to think that it is possible to speak not only about the presence of a layer so-called "old European" hydronymy which is already perceived as a well-known fact. However, it may be presumed that it is rational to speak about the existence of the Old European Onomastics Union as a special areal community.

Key words: *anthroponymy, ethnonymy, hydronymy, onomastics, Old European Onomastics Union, proper name, composite proper name, toponymy*.

Гинтаутас Кундротас

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
gintasslav@gmail.com

Функциональные возможности интонационных единиц русского языка в сопоставлении с литовским

Вводные замечания

Русская интонация является ярким примером разнообразного и подробного анализа - как ее акустических признаков, так и функциональных возможностей, по сравнению с интонационным строем многих других языков, в которых интонация почти не изучена или ее изучение только начинается.

Проблема выделения интонационных единиц, определение их функциональных возможностей и анализ акустических признаков волнует исследователей интонации разных языков с самого начала активного ее изучения. Сложность этого вопроса подтверждается еще и тем, что предполагаемые единицы интонации до сих пор не обрели конвенционально единого обозначения (термина), не говоря уже об общности или единстве понимания их содержания и практической реализации.

В разных странах и в трудах разных исследователей они называются по-разному (фонема тона, тонема, мелодема, интонема, прозодема, тип интонации, интонационный контур или интонационная конструкция и т.д.), количество наименований продолжает увеличиваться, а их содержание - все уточняется. Вопрос выделения и характеристики интонационных единиц осложнялся и осложняется тем, что до сих пор интонация в некоторых ее изучающих науках (риторике, коммуникативистике и др.) рассматривается как невербальное, паралингвистическое (неязыковое) средство. Да и в самом языкознании лингвистический статус интонации признавался с трудом и отговорками. Как известно, интонацию долгое время считали недискретным явлением, лишенным собственной системы единиц. Интонация была представлена либо как часть фонетики, либо как часть синтаксиса – такое ее восприятие было характерно вплоть до середины XX столетия.

Успехи развития фонологической теории и методов инструментального анализа звучащей речи стимулировали функциональное изучение фразовой просодии как за рубежом, так и в России; наиболее интересными являются работы А. М. Пешковского о взаимоотношении интонации и грамматики, также концепция «синтаксической фонетики» Л. В. Щербы. В этой связи важно отметить, что поиски интонационных единиц активизировались с развитием экспериментально-фонетических методов исследования и применением их для подробного анализа интонации предложения: исследователи «искали непосредственную связь между данной синтаксической структурой и интонационной формой, ее выражающей. Иными словами: предполагалось, что, скажем, каждый тип придаточного предложения отличается именно свойственной ему интонационной картиной» (Зиндер, 1979, 271). Результат такого анализа представлял подробную картину акустических компонентов предполагаемой интонационной единицы, реализованной на синтаксической единице. На материале русского языка значительная часть таких экспериментов была выполнена под руководством В. А. Артемова, он один из первых широко начал использовать дефиницию «интонема» – как термин, обозначающий единицу интонации (Артемов, 1971).

Этот термин (интонему) в 70-ых годах прошлого столетия в своих работах наиболее часто использовала Т. М. Николаева (Николаева, 1977); на интонему, как условную единицу интонации, эпизодически указывали также и некоторые другие исследователи русской интонации (Светозарова, 1982; Касевич, 1986; Кодзасов, 2001), но в итоге более широкое научное и соответственно практическое применение этот термин как обозначение интонационной единицы не получил. Правда, в последнее время можно отметить тенденцию под словом «интонема» в значении «интонационная единица» объединить все, что с ней в этом качестве (понятии единицы) может быть соотнесено (Языкоzнание, 1998, 198; Стариченок, 2008).

К сожалению, теория интонации до сих пор не решила этот трудный вопрос; тем самым сохраняется проблематика **объекта исследования** и достижение **цели исследования** настоящей статьи – сопоставление функциональных возможностей интонационных единиц русского и литовского языков. На **материале русского и литовского языков** такой анализ не проводился, таким образом, полученные результаты представляют актуальность

и научную новизну исследования. Результаты исследования могут представить интерес как в теоретическом, так и в практическом аспекте (в преподавании интонации обоих языков как родных и как иностранных). В качестве метода исследования используется описательный метод с элементами сопоставления и учетом результатов комплексного анализа интонационных систем русского и литовского языков на основе фонологического метода в интонации*. Таким образом, исходным понятием интонационной единицы в настоящей статье в русском языке используется интонационная конструкция (ИК), разработанная Е. А. Брызгуновой (Брызгунова, 1978, 1980), а в литовском языке – интонационный контур (Кундротас, 2007).

Результаты исследования

В последние 30-40 лет исследования по русской интонации отличались особой активностью и результативностью – появились работы таких известных авторов, как И. Г. Торсуева (1979), Т. М. Николаева (1977, 2000), Н. Д. Светозарова (1982), Кантер (1986), Л. В. Златоустова и Р. К. Потапова (1997), С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова (2001) и многие другие. Одновременно с данными исследованиями необходимо отметить публикацию работ Е. А. Брызгуновой (1978; 1980; 1984; 1997) и одновременно становление качественно нового подхода в изучении русской интонации. Ее исследования были творческим развитием фонологического метода Н. С. Трубецкого (Трубецкой, 1960).

Успех данного метода и теории в целом заключался в том, что таким образом впервые, на основе базовых интонационных оппозиций, было выделено доступное к восприятию, удобное в практическом применении ключевое интонационное средство – тип интонационной конструкции (ИК). Также на основе интонационных оппозиций были выделены и другие интонационные средства – передвижение интонационного центра, синтагматическое членение и пауза, которые в совокупности образуют систему интонационных средств русского языка. Все интонационные средства акустически и функционально взаимосвязаны и проявляются в неразрывном единстве: членение речевого потока означает одновременное образование такого же количества интонационных конструкций, каждая из которых имеет свой центр.

В дальнейшем анализе звучащей речи, что очень важно, Е. А. Брызгуновой были разграничены такие понятия, как единица и средство. Единицей интонации Е. А. Брызгунова считает

интонационную конструкцию, средствами - словесное ударение, центр ИК, место членения на ИК (синтагматическое членение), паузу (Брызгунова, 2002, 253). Такое системное представление интонации, думается, во многом проясняет содержание и употребление ряда понятий и терминов, связанных с интонацией и смежными с ней явлениями языка, таких как: *разновидности ударения* (словесное, логическое, синтагматическое), *интонационный центр, синтагматическое членение и пауза*.

Необходимо также отметить, что новая теория была успешно применена для сопоставительно-типологического описания интонации русского и других языков. Как известно, сопоставлению должен предшествовать анализ интонации и (или) выделение интонационной системы второго языка. Также известно, что наилучшие результаты достигаются в случае применения единого исследовательского подхода или метода.

В литовском языке в итоге системного анализа интонации на основе фонологического метода была определена система интонационных средств языка (Кундротас, 1990, 2007).

На основе системы смысловых оппозиций и слухового анализа в литовском языке в качестве основных интонационных средств выделены: 1) интонационный контур (ИКЛ); 2) передвижение интонационного центра; 3) синтагматическое членение; как дополнительное интонационное средство – (4) пауза. В дальнейшем сопоставлении интонационный контур литовского языка (ИКЛ) будет рассматриваться как **интонационная единица**, остальные – как средства.

Степень функциональной нагрузки интонации в целом и каждого интонационного средства отдельно зависит: от количества интонационных оппозиций (и количества выражаемых ими различий), от их качества, то есть способности выполнять разнообразные функции в разных условиях.

В русском и литовском языках интонационные единицы – типы ИК и ИКЛ могут выражать: смысловые различия, различия нейтрального и эмоционального отношения говорящего к выскаживаемому, стилистические различия; функциональная нагрузка интонационных единиц зависит и от их способности употребляться в независимых или только зависимых позициях, регулярности проявления, степени pragматического воздействия.

Специфика различительных возможностей интонационных единиц (ИК) в русском и ИКЛ в литовском проявляется в следующем:

I) в русском и в литовском языках ИК и ИКЛ выражают **смысловые различия**: коммуникативные типы высказываний (сообщение вопрос - вопрос, вопрос-вопросизъявление); различия внутри коммуникативного типа высказывания (сообщение-оценка, вопрос-переспрос, вопрос-повторение вопроса при ответе, вопрос с сопоставительным союзом «а» - оценка и др.)

Сопоставление показало, что типы ИК в русском и ИКЛ в литовском языке выражают те же основные смысловые различия, кроме некоторых: так, в русском языке ИК, в отличие от литовского, различают такие значения:

а) сообщение – вопрос (в предложениях с союзом “или”): *Он приедет у³тром / или ве¹чером. - Он приедет у³тром / или ве²чером?*

В литовском языке в таких предложениях вопрос строится при помощи союза *ar*, а сообщение – при помощи союза *arba*: *Jis atvažiuos ry³tq / ar vakare²? - Jis atvažiuos ry³tq / arba vakare^{1/2}*. Употребление ИКЛ-2, наряду с ИКЛ-1, вопросительность не создает, а лишь указывает на большую категоричность или уверенность;

б) сопоставительный вопрос с союзом “а” - переспрос с частицей “а”: *A в суббо⁴ту? - A в суббо³ту?* В литовском языке такого типа переспрос строится без частицы и, таким образом, предложения имеют разный лексико-синтаксический состав: *O šešta⁴dien¹? - Šešta³dien¹?*

При сопоставлении также установлено, что в русском языке, значения “вопрос с оттенком требования” и “отрицание” чаще выражаются с помощью ИК, а в литовском - при помощи лексико-грамматических средств (форм повелительного наклонения, сочетаний частиц). Это уменьшает количественный состав интонационных оппозиций в литовском языке и тем самым снижает роль интонации, по сравнению с русским.

В **сложных предложениях** различительные возможности интонационных конструкций проявляются прежде всего на стыке частей: типы ИК и ИКЛ используются как средство усиления или ослабления значений, выраженных союзной связью частей и их смысловым взаимодействием. В русском языке в сложно-подчиненном предложении интонация завершенности (ИК-1, ИК-2) или незавершенности (ИК-3) в главной части усиливает или ослабляет ее смысловую самостоятельность: *Мы зашли в ле¹с, / чтобы укрыться от ве¹тра. - Мы зашли в ле³с, / чтобы укрыться от ве¹тра. (= Мы зашли в лес для того³, / чтобы укрыться от ве¹тра.)* Аналогичные отношения наблюдаются и в литовском языке: *Jis*

išėjo anksti ry^{1/2}tą, / kad su šviesa sugri¹žtą. - Jis išėjo anksti ry³tą, / kad su šviesa sugri¹žtą.. (= Jie išėjo anksti rytą todė³L / kad su šviesa sugri¹žtą).

В бессоюзных соединениях предложений с помощью интонационных конструкций разграничиваются последовательность действий и взаимообусловленность действий. В русском языке данные различия выражаются при помощи интонации завершенности (ИК-1, ИК-2): *Сдам экза^{1/2}мен, / поеду отдыха¹ть* (последовательность действий) и интонации незавершенности (ИК-3): *Сдам экза³мен, / поеду отдыха¹ть* (взаимообусловленность действий). = *Когда сдам экза³мен, / поеду отдыха¹ть.* Аналогичные отношения наблюдаются и в литовском языке: *Gausiu pre¹mija, / važiuosiu atostogau¹ti. - Gausiu pre³mija, / važiuosiu atostogau¹ti. = Kada gausiu pre³mija, / važiuosiu atostogau¹ti.* Конкретизация значения взаимообусловленности средствами интонации и в русском, и в литовском языках возможна лишь в отдельных случаях, например, при выделенности интонационным центром глаголов в форме будущего времени в начале и в конце предложения: *(Если) сда³м экзамен, / пое¹ду отдыхать.*; *ср. в литовском: (Jeigu) gausiu pre³mija, / važiuosiu atostogau¹ti.*

2) Интонационные конструкции выражают также **различия нейтрального и эмоционального** отношения говорящего к высказываемому: *Почему² ты опоздала?* (нейтральный вопрос) и *Почему⁴ ты опоздала?* (вопрос с назиданием); также и в литовском: *- Žiūre³jai krepšinj? Žiūrė¹jau.* (нейтр. ответ) и *- Žiūrė⁴jau!* (ответ с вызовом).

3) Интонационные конструкции выражают также **стилистические различия**. В неконечных синтагмах повествовательного предложения при выражении незавершенности ИК-3 (в литовском ИКЛ-3) придает речи разговорный оттенок, а ИК-4 (в литовском ИКЛ-4) характеризует официальный, деловой тон: *Vaše заявле^{3/4}nie/ находится у дире¹ктора. - Jusų pareišk^{3/4}imas / dabar pas direk¹torių;* ИК-6 (реализации с увеличением длительности гласного центра и напряженности артикуляции) преобладает в торжественно-приподнятой речи: *Сего⁶дня / на Красной Пло⁶щади/ состоялась праздничная демонстра¹ция.* В литовском языке торжественно-приподнятую речь характеризует соответственно ИКЛ-6: *Šiandie⁶na / Vingio pa⁶rke / Dainų šventės atida¹rymas.* (*Сего⁶дня/ в парке Ви⁶нгис/ открытие Праздника пе¹сни*).

Употребление разных типов интонационных конструкций при выражении общего значения (например, незавершенности), является синонимичным. Синонимическое употребление

типов ИК и ИКЛ наблюдается и во многих других случаях, например: при выражении интенсивности проявления признака, действия, состояния (типы 3,5,6): *Здесь так ходи^{3/4} лодно! Čia taip šalta!* *Čia taip šal^{3/6}ta!*; при выражении вопроса в предложении без местоименного слова (типы 3,4): *Вы давно³ в Москве? - Jūs seniai³ Maskvoje?*; при перечислении (все типы ИК и ИКЛ) и др. При синонимическом употреблении типов интонационных конструкций возникают различия эмоционально-стилистического характера.

Как видно из приведенных примеров, большинство русских интонационных единиц являются многозначными, то есть, сочетаются с разными лексико-синтаксическими основами и в разных синтаксических условиях. Так, для ИК-2 и ИКЛ-2 характерно значение вопроса в вопросительном предложении с вопросительным словом: *Каки²е иллюстрации?- Ko²kios iliustracijos?*; значение акцентной выделенности («логического ударения») или противопоставления: *Я вернусь ве²чером, / в де²вять! - Aš gr̄šiu vakare², / devi²nta!*; резкости и категоричности при волеизъявлении: *Ната²ша! Не ходи² туда! - Nijo²le! Nei²k ten!*

Сравнивая степень функциональности разных интонационных единиц в русском и литовском языках нетрудно заметить, что наибольшей нагрузкой обладают ИК-3 в русском и ИКЛ-3 в литовском языках – они отличаются наибольшим количеством выражаемых значений и одновременно самой высокой частотностью употребления.

Так, в обоих языках обе они являются единственным интонационным средством выражения *вопросительности*, служит средством вежливой просьбы, высокой степени проявления признака, действия, состояния а в неконечной синтагме повествовательного высказывания сигнализирует о *незавершенности* в *разговорной непринужденной речи*, также при сопоставлении и противопоставлении.

Одним из основных значений ИК-4 и ИКЛ-4 является выражение *официального, вежливого требования* (в отличие от резкого и грубоватого в данной ситуации второй конструкции (контура)): *Ва⁴ши билет? - Jū⁴sū bilietas?*

В соединении с центром на местоименном слове эта единица придает высказыванию оттенок *назидательности, менторства, строгости*: - *Почему⁴ так поздно пришел? - Kodėl taip vėlai sugr̄žai?*

В неконечной синтагме повествовательного высказывания она, как и ИК-3, свидетельствует о *незавершенности в условиях*

книжных стилей, дикторской официальной речи: - Однажды после ужина / Павел отпустил занавеску на окне, / сел в угол / и стал читать. - *Pirma⁴sis gręzinys / veikia sėkmīn¹gai. Antrasis ir trečia⁴sis / bus ižbaigti artimiausiu metu¹.*

в ответных диалогических репликах способствует продолжению диалога и придает разговору различные эмоционально-стилистические оттенки: Да⁴, / конечно, / я вам завтра позвоню²! - *Gera⁴i, / duktau⁴, / klausy¹siu.:*

Как универсальное и традиционное средство выражения «восклицательности» в обоих языках выступают ИК-5 и соответственно ИКЛ-5. Они выражают значения оценки – высокой степени проявления действия, признака, состояния в предложениях с местоименными словами и без них в поэтической преимущественно, но также и в разговорной речи: - *Какие у него чудесные рассказы!* (А.Чехов) – *Ko⁵kios nuostabios rožės!*; при выражении невозможности или отрицании признака, действия, состояния: *Как⁵ же он успеет!* - *O ko⁵ks tavo paguodimas!*; при выражении волеизъявления с оттенком желания, предпочтительности: - *Хо⁵ть бы они успели!* - *Kad ti⁵k jie suspėtū!*

Как еще одно средство восклицательности в обоих языках используется шестая интонационная единица – ИК-6 и функционально соотносительная с нею ИКЛ-6. Они употребляются при выражении высокой степени проявления признака: - *Tylu⁶ tada kai⁶me!* (J. Baltušis). *Kaip ji giria Gumbakis!* (J. Žemaitė); *Как она загорела!* Волнова⁶лись они!; при выражении недоуменного вопроса, уточняющего переспроса (центр на местоименном слове): - *Почему⁶ она не приходит!* - *Ki⁶ aš pasidėjau akinis!*; при выражении незавершенности придает тексту стилистическую нейтральность : *Kai⁶rovo saskaitoje / penki¹ taškai.* - *Расстались они / довольно су¹хо.*

Седьмой контур в обоих языках отличается наименьшей функциональностью. В русском языке ИК-7 в конструкциях с местоименными словами выражает значение экспрессивного отрицания качества, количества, признака, действия, состояния, выраженного лексическим составом и, таким образом, как отмечает И.М.Логинова, «выступает антонимом к синонимическому ряду ИК- 5 // ИК-6 со значением высокой оценки (Логинова, 2007:). В конструкциях без местоименных слов ИК-7 реализует противоположное значение экспрессивного утверждения. Соответственно близкие значения выражает ИКЛ-7 в литовском языке: *Какие у вас грехи!* (А.Чехов) - *Ku⁷r jis mokysis!*; *Зима⁷ холодная!* - *Gražu⁷! Šal⁷ta!* Необходимо отметить, что, по сравнению с русским языком, функция

циональная нагрузка ИКЛ-7 в литовском языке еще меньше – при выражении значений экспрессивного утверждения и отрицания преимущества отдается лексико-грамматическим средствам языка: усилительным частицам, в сочетании с местоименными словами или местоимениями, напр.: *Kur⁷ jis ten mokysis!*; *Kur⁷ jis tau mokysis!*; *Kur⁷ jis ten tau mokysis!*;

ИК-1 и ИКЛ-1 в основном выражают завершенность в конечных и неконечных синтагмах простых и сложных предложений; в последних случаях, как уже указывалось, они в обоих языках подчеркивают семантическую самостоятельность части высказывания и ее *слабую связь* с последующей: - *Kur tai atsitiko?* – *Jū¹roje. – Iš valties? – Iš val¹ties?* (J. Grūšas); Он *приподнялся с усилением* (Достоевский). ИК-1 и ИКЛ-1 также при произнесении заглавий и названий: „ *Ko klykia ger¹vės*” (V. Petkevičius). „ *Kaimas kry¹žkelėje*” (J. Avyžius); „ *Как я учи¹лся*” (Горький). „ *Как быть краси¹вой*” (“Неделя”).

ИК-1 и ИКЛ-1 являются однозначными и характеризуется *семантической и стилистической нейтральностью*.

Выводы

Как показало сопоставление, дефиниция интонационной единицы в обоих языках остается дискуссионной, хотя более часто в качестве рабочего определения в русском языке используется термин «интонационная конструкция» (ИК), реже – «тип интонации» или «интонационный контур», «интонема», в остальных случаях – просто «интонационная единица». В литовском языке преобладающим термином является «интонационный контур», реже – «интонема».

Как показало исследование, интонационные единицы в обоих языках обладают наибольшими функциональными возможностями, по сравнению с остальными интонационными средствами. Они могут выражать смысловые и эмоционально-стилистические различия, их использование в коммуникации может носить синонимический и (или) антонимический характер, в обоих языках им свойственна pragматическая функция. Сопоставление также выявило, что в ряде случаев функциональная нагрузка интонационных единиц в литовском языке меньше, соответственно большую нагрузку выполняют лексико-грамматические средства.

ЛИТЕРАТУРА

- Артемов, 1971, *Интонация и просодия* – Proceedings of the 7 th Int. Cong. Ph. Sc., Montreal, 1971. // The Hague: Mouton.
- Брызгунова Е. А. , 1969, *Звуки и интонация русской речи*. Москва.
- Брызгунова Е. А., 1978, Фонологический метод в интонации. – В кн.: *Интонация*. Киевс. 17-33.
- Брызгунова Е. А., 1980, Интонация. // *Русская грамматика*. Т. I. М.
- Брызгунова Е. А., 1997, Интонация и синтаксис. // *Современный русский язык*. Под ред. В. А. Белошапковой. Гл. 11. Изд. 3. М.
- Брызгунова Е. А., 2002, Обобщающие и классифицирующие единицы звучащей речи и их сопоставление. - Аванесовский сборник. Москва с. 252- 258.
- Большой энциклопедический словарь. Языкоzнание, 1998. М.
- Златоустова Л. В., Потапов В. В., Трунин-Донской В. Н., 1997, *Общая и прикладная фонетика*. М.
- Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages*, 1998, Edited by Daniel Hirst and Albert Di Cristo. Cambridge University Press.
- Кантер Л. ,1988, *Системный анализ речевой интонации*. М.
- Касевич В. Б., 1986, *Морфонология*. Л.
- Кодзасов С., Кривнова О. , 2001, *Общая фонетика*. М.
- Кундротас Г., 1991, Система интонационных средств литовского языка (в сопоставлении с системой в русском языке) // *Kalbotyra (Языкоzнание)*. Vilnius: Mokslas, Nr. 41(2), 4-8.
- Кундротас Г., 2007, Фонологический метод и типология интонационных систем. // *Теория и практика звучащей речи*. Вильнюс: Вильнюсский педагогический университет, 67-83.
- Кундротас Г., 2008, Акустические характеристики интонационных контуров литовского языка в сопоставлении с русским (экспериментально-фонетическое исследование) // *Русистика и компаративистика*. Сборник научных статей. Вып.3. Москва: МГПУ с. 54 – 71.
- Логинова И. М., 2007, Интонация в семантико-семиотическом аспекте. // *Теория и практика звучащей речи*. Вильнюс: Вильнюсский педагогический университет, с. 49-66.
- Николаева Т. М., 1977, *Фразовая интонация славянских языков*. М.
- Николаева Т.М., 2000, *От звука к тексту*. М., с. 192-203.
- Пешковский А. М., 1956, *Русский синтаксис в научном освещении*. Изд. 7. М.
- Светозарова Н. Д., 1982, *Интонационная система русского языка*. Москва.
- Стариченок В. Д., 2008, *Словарь лингвистических терминов*. Ростов на Дону.
- Трубецкой Н. С., 2000, *Основы фонологии*. Изд. 2. М.
- Торсуева И. Г., 2000, *Интонация и смысл высказывания*. М.
- Хромов С. С., 2000, *Интонация в системе языка и проблемы методического прогнозирования*. М.
- Щерба Л. В., 1957, *Фонетика французского языка*. Изд. 6. М.

Comparative Analysis of Functional Potential of Russian and Lithuanian Intonation Units Summary

Russian intonation has been studied from different aspects for quite a long time, in comparison with other languages, where investigation into intonation problems is just gaining acceleration. It is universally known that one of the most important objectives of intonation research is to define intonation units and other elements of intonation system as well as to develop the analysis of intonation in terms of its acoustic expression and functionality. The most debatable issues are related to the ways of defining intonation units, their conceptions and nominations. The most frequently used terms of intonation units are as follows: intonation construction, intoneme, intonation contour, tone phoneme, etc.

The article deals with functional potential of intonation units of two languages. The following units are analyzed: intonation constructions of the Russian language and intonation contour of the Lithuanian language. The research reveals that in both languages intonation units as means of intonation systems have the biggest functional potential and can perform the following functions: representational, emotive, appellative and stylistic. Only in some cases functional potential of Lithuanian intonation contour is lower than the Russian intonation construction. It is conditioned by particularity of the structure of Lithuanian grammar.

Key words: intonation units, intonation construction, intoneme, intonation contour, tone phoneme, functional potential of intonation, representational, emotive, appellative and stylistic functions.

Владимир Курдюмов

Московский городской педагогический университет (Россия)
vk@yazyk.net

«Китайские» реалии в языках другой типологии

I. Китайская грамматика в русском языке

При сопоставительном анализе грамматического строя языков, в отличие от «традиционных» представлений, восходящих, условно говоря, к А. Шлейхеру и В. фон Гумбольдту (и которые никто не собирается отменять), огромную роль играет уяснение природы порождения синтаксических структур. Особенно такая проблематика актуальна для тех, кто профессионально занимается изучением и преподаванием иностранных языков. Переводчик/преподаватель во многом прежде всего должен задаваться вопросом: «По какой причине и почему типичный говорящий на данном национальном языке в определенной (или в типичной) ситуации говорения выберет определенную (типичную для него, языка в целом, ситуации и стиля) синтаксическую стратегию?»

Постановка проблемы именно в таком ключе порождает и вопросы, и ответы, побуждает исследователя к более глубокому, «онтологическому» отношению к объекту.

Кратко перечислим основные «попутные» проблемы, связанные с уяснением онтологии порождения синтаксиса (и заодно с прискорбием констатируем, что большинство из них не получили должного внимания со стороны лингвистического сообщества):

- насколько морфологическая классификация, в общих чертах предложенная А. Шлейхером и уточненная В. фон Гумбольдтом (и во многом получившая вполне «гумбольдтианское» же развитие в трудах выдающегося типолога Г. П. Мельникова) соответствует синтаксической типологии Ч. Ли и С. Томпсон, предложенной в виде гипотезы в 1970-80-х гг.;

- насколько описательный аппарат, понятийная система и терминология лингвистики отвечают потребностям изучения языков разной грамматической отнесенности;

- насколько психологическая реальность порождения-восприятия, единицы и этапы «укладываются» в традиционную

лингвистическую модель и совместимы с моделями описания поверхностного синтаксиса или даже порождающей грамматики;

– если синтаксический облик функциональных разновидностей языка представлен разными стратегиями, как же определить сам «типаж» национального языка.

Мы бы хотели обратить внимание прежде всего на то, что понятийно-терминологическая система современного языкознания сложилась на основе изучения кодифицированной литературной речи языков типа латинского (сильно флексивных), затем была перенесена на анализирующиеся или слабофлексивные аналитические языки типа английского (при не этом не будучи откорректированной). Следующий клубок (не решенных до сих пор) проблем был порожден попытками механического переноса этой системы (т. е. европейской лингвистической ментальности) на восточные: типичные агглютинирующие (к примеру, турецкий и все тюркские) и тем более типичные изолирующие языки (китайский, вьетнамский, лаосский, кхмерский и др.).

Между тем, на базе чего сложилась эта самая «европейская» лингвистическая ментальность: на основе анализа поверхностных свойств хорошо развитых флексивных языков подлежащего строя. Слова, флексивность, словарность частей речи, подлежащность синтаксиса по прежнему остаются для многих отправными пунктами размышления, священными догмами, которые чуть ли не «страшно» пересматривать.

Особенно негативный эффект такая догматичность дает в процессе подготовки будущих преподавателей и переводчиков восточных языков: многие специалисты-«практики», негативно относящиеся к теории в целом, согласны принять базовые категории «школьной» лингвистики (фактически, русистики), но ни в коем случае не углубляясь в теоретические размышления: восточным языкам насилиственно навязывается «европейская» модель мышления».

Осмелимся предположить, что если бы лингвистика развивалась не в Европе, а складывалась как анализ тюркских или сино-тибетских языков, то и термины, и базовые категории были бы другими, условно говоря, «сдвинутыми».

Рассмотрим более детально одну из наиболее важных проблем: онтологическую сущность понятий топика и комментария (Т.-К.), их применимость на мультиязыковом материале, психологические основы возможности их расширения и уточнения.

В наиболее ясном и определенном облике данные категории были представлены в трудах американских ученых Ч. Ли и С. Томпсон, уточнивших более ранние представления Чжао Юаньжэня, Дж. Хоккета и др. После 1990-х годов Ч. Ли и С. Томпсон к этой проблематике не возвращались, и революционная во многом она была «заморожена» на полпути, не дождавшись сущностной интеграции в общую теорию языка. Трактовка топика и комментария уровня текста в наиболее ясном виде предложена А. М. Ефремовым, психолингвистическая реальность рассматривалась московскими психолингвистами, в частности Т. М. Ахутиной и А. А. Леонтьевым. Определенный интерес к проблематике проявлял и Г. П. Мельников, а с 1990-х г. по наше время онтология топикости разрабатывается в наших исследованиях.

Сразу внесем ясность в следующее «недоразумение»: многие лингвисты полагают, что Т.-К. – лишь незначительные модификации классических темы и ремы. Однако в реальности Т.-К. первичны, а тема и рема имеют отношение к подлежащему литературному флексивному синтаксису, где в «красивых» и хорошо согласованных, как правило, пространных и лексически насыщенных построениях с плавающим подлежащим и сказуемым читателю, помимо эстетического наслаждения, приходится все же искать смысл, т. е. что же именно описывает автор (Т.), и в чем же состоит его описание (К.). Это и есть не что иное, как Т.-К. порождения/восприятия, но поверхенно они не маркированы, а формально этой задаче должны служить подлежащее и сказуемое. Именно так в оборот были введены понятия темы и ремы как результат поиска топика и комментария там, где они не выражены и не обособлены.

Т.-К. – синтаксические категории, маркованные на поверхности в отдельных языках и противопоставленные по ряду признаков подлежащему и сказуемому в других языках. Впоследствии, затрагивая эту тематику, выдающийся российский типолог Г. П. Мельников в личной беседе с автором данного материала, обобщил это следующим образом: ряд языков являются т. н. канонически сочлененными, и произнесенные предложения требуют «расщепления» в сознании (языки подлежащного строя), другие языки – канонически расчлененные, и предложения в сознании сочленяются (топиковый строй). Типичным топиковым является китайским, недостаточно исследована проблематика топикости в таких языках, как болгарский (что было бы исключительно перспективным на фоне сравнения болгарского и английского аналитизма) или турецкий (в том числе и в связи с т. н.

балканским типом синтаксиса). Совершенно на поверхности лежит (но плохо изучается) тот факт, что русская спонтанная речь по сути топиковая и во многом «антипадежная»:

- *Вот эти люди | у них теперь уже разный образ жизни.*
- *Лекция | уже обсуждали.*
- *Переход подземный | кто сходит?*
- *Занятие завтра | никто не сможет (явиться).*
- *Новая школа | хорошее оборудование, много техники.*
- *Магазин завтра | поедем - нет?*
- *Наши слушатели | они всё стараются упростить.*
- *Эти средства для того, чтобы они могли не обесцениваться | они инвестируются в определённые инструменты инвестиционные, и таким образом поддерживается их покупательная способность, а размер этих средств, которые перечисляются на именной счёт, он устанавливается ежегодно в бюджете.*
- *А как Вы думаете, участники этой системы | они будут копить деньги или будут сразу же брать квартиры, в расчете на то, как слушательница сказала, что государство потом отдаст деньги за неё?*
- *Проблема заключается в том, что, скажем, туфля, которую продают на американском рынке за 200 долларов | себестоимость ее в Китае составляет доллар.*
- *И видимо, военные, когда распускают такие слухи | они научились, извините, понтovаться у чеченцев.*
- *И вот полицейские, которые не очень любят студентов | они обрадовались, что у него этого удостоверения с собой не было, кинули его по формальным основаниям в камеру.*
- *Моя душа | она вам не подвластна, она сильней и пыток и смерти.*
- *Вы как любой яркий исполнитель | у Вас есть свой образ.*
- *Чужие люди, няни | сердце и душа не на месте.*
- *Этот романтический ореол | он будет с Вами постоянно.*
- *Во-первых, ни одна конкретная мера не спасает отрасль. Но отрасль получает инструмент субсидирования, дополнительный глоток кислорода, поскольку все-таки девальвация рубля привела к тому, что импортные автомобили | разрыв в цене с отечественными стал еще больше.*

Опуская примеры из китайского и других языков, пояснения, многократно повторенные и нами, и Ч. Ли – С. Томпсон, предложим «определение-1» – для синтаксических топика и комментария: – синтаксические категории, основные части предло-

жения, находящиеся в предикативной связи («характеризуемое – характеризующее»; связь утверждается актом говорения), но не требующие формальной сочетаемости и ведущие себя свободно относительно друг друга.

Второе понимание: топик – организатор текстового фрагмента, вытекает из 1-го, поскольку топик в «расчлененных» языках всегда выходит за рамки предложения, в котором локализуется, управляя целым СФЕ. Грубо говоря, если мы начинаем абзац фразой типа «Что касается Косово, то...», то топикость этого «Косово» распространяется либо на все предложения в этом СФЕ, либо на микро-СФЕ в составе СФЕ «большого». Топик не только синтаксичен, но и, совершенно очевидно, имеет текстовую природу.

Ряд отечественных психолингвистов (А. А. Леонтьев, Т. В. Ахутина), возможно, не придавая данному факту принципиального значения, указывают, что «на глубине» – при порождении – топиковые построения предшествуют «подлежащным»: любое говорение начинается с «задумывания» топика и комментария, которые вырастают в Т.-К. текста, сопровождаясь Т.-К. высказываний. Следовательно, «определение-3»: Т.-К. – наиболее естественная и первичная глубинная (ментальная, психолингвистическая) структура, организация которой подобна поверхностной Т.-К. (понимание I; но в реальности наоборот: поверхностные спонтанные «рваные» контекстуально ориентированные высказывания дублируют синтаксис – простое соположение – мысли), и является ядром текста/СФЕ.

Как указывают Ч. Ли и С. Томпсон, гипотетически существуют четыре типа языков, что указывает на возможное движение от одного типа к другому в диахронии; организация структур по типу Т.-К. является стандартом и критерием, по которому определяются: тип языка (типичное говорение типичного говорящего; синхрония), предыстория и будущее (диахрония; будущее – как прогноз).

Итоговое «определение-5»: топик и комментарий – основа не только синтаксиса, текста, типологии и психолингвистики, это универсальные языковые категории, функционирующие на любых уровнях и стадиях языка в синхронии и диахронии, совершающие кругооборот в процессе порождения и восприятия, постоянно переходящие в себе подобные или производные; структуры. Т.-К. реализуют предикативную связь – основу языка, видимо, будучи, видимо, врожденными как структура (по крайней мере, обратного никто не доказал).

II. Черты «китайской» типологии в английском языке

Рискнем предположить, что английский язык, столь пристально, детально и неустанно описываемый в различного рода диссертациях, до сих пор не стал объектом подлинного типологического рассмотрения, особенно, в сравнении с китайским языком – а для этого есть огромное количество оснований.

Обычно, описывая строй английского языка, в вузах и школах пользуются термином «аналитический», избегая обращаться к четырем базовым типам Гумбольдта-Шлейхера. Потому что европейский, «западный» язык по этой классификации обнаруживает явное сходство с восточными. Ряд характеристик английского языка по качеству совпадают с характеристиками китайского языка, отличаясь по степени выражения. Фактически, английский язык является «слабой», «несовершенной» копией китайского; анализм – не свойство, а тенденция. Характеристика «слабофлективный аналитический» означает «идущий от флексивного («латинского», «европейского» стандарта)» к стандарту изолирующему. При этом, если детерминанта изоляции в языке нарастает, то она охватывает все уровни и элементы системы.

К примеру, так же, как и в китайском языке, в английском фактически не существует словарных частей речи (хотя, следуя традиции, они фиксируются в словарях) – лексическая единица может колебаться в морфологическом диапазоне или передвигаться по морфологическому маршруту, занимая разные позиции (Курдюмов, 2006). Однако сама лексическая единица все же может быть охарактеризована как типичное слово, тогда как в китайском языке слова отсутствуют: они легко сочиняются и так же легко распадаются; для носителя языка, ориентированного на восприятие слогоморфемы, слово несущественно.

Звуковой строй английского языка демонстрирует, фактически, не противопоставление звонких и глухих согласных, как, к примеру, в русском, а придыхательных и полуглухих непридыхательных как в китайском, только придыхание гораздо более слабое.

Если предположить, что строй английского языка движется в «китайском» направлении, то возникает широкий спектр тем, весьма привлекательных для исследователя: проблема полного отмирания форм и сентенциального согласования, проблема возможной адаптации синтаксиса к топиковому типу и т. д. Ни одна такая тема до настоящего времени не стала диссертационной, по крайней мере, на пространстве бывшего СССР.

Равно как и не исследуется возможная трансформация китайского языка в «турецком» направлении: явное и стремительное нарастание аглютинации и сопутствующие этому явления.

Цель нашей статьи – привлечь внимание лингвистической общественности к подобного рода проблемам, показать возможность описания языков различного строя с позиций не только и не столько лингвистики «европейского» типа.

ЛИТЕРАТУРА

- Ахутина Т. В., 1989, *Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса*. М.: Изд-во МГУ.
- Ефремов А. М., 1987, *Связность китайского текста в сравнительно-типологическом аспекте*. Дисс. ...канд. филолог. наук. М.: ВКИ.
- Курдюмов В. А., 1999, *Идея и форма. Основы предикационной концепции языка*. М., Воен. ун-т.
- Курдюмов В. А., 2005, 2006, *Курс китайского языка: Теоретическая грамматика*. М.: Цитадель-трейд.
- Леонтьев А. А., 1997, *Основы психолингвистики*. М.: Смысл.
- Ли Ч. Н., Томпсон С. А., 1982, *Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике*. Выпуск XI: Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М.: Прогресс.
- Мельников Г. П., 1990, *Принципы и методы системной типологии языков*. Дисс. доктора филолог. наук. М.: ВКИ.
- Chao Y. R., 1968, *A Grammar of Spoken Chinese*. Berkeley: Univ. of California Press., - XXXI, 848 р.
- Hockett C. F., 1958, *A Course in Modern Linguistics*. N.Y.: Macmillan.
- Li Ch. N., Thompson S. A., 1981, *Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar*. Berkley: Univ. of California Press.

“Chinese” Realities in other Types of Languages Summary

Some European Languages which usually are considered inflective and subject prominent, nevertheless contain lots of features inherent to isolating ones, especially to Chinese. In Russian they are topic prominent word order in spontaneous speech, disuse of cases. In English these features are presented by absence of “in-vocabulary” parts of speech, aspiration of consonants, and some others. Such features (probably) confirm “moving” of typology from “Russian” type to “English”, from “English” to “Chinese”, from “Chinese” to “Turkish”.

Key words: *predicational concept, Chinese, English, Russian, universals, topic, comment, syntax*.

Кшиштоф Кусаль

Вроцлавский университет (Польша)
christofor@op.pl

Субстандартная фразеология как источник русско-польской межъязыковой омонимии

Вводные замечания

Достижения современной русской и польской лексикологии и фразеологии связаны с активным процессом системного изучения лексических и фразеологических единиц в самых разных аспектах: исследуется семантическая структура и семантическая типология, грамматика, процессы слово- и фразообразования, функционирование лексических и фразеологических единиц в языке и речи, синтаксические свойства фразеологизмов, системное взаимодействие этих единиц с другими уровнями языка, место и роль лексики и фразеологии в общей языковой картине мира. При этом межъязыковое сопоставление становится одним из наиболее эффективных методов выявления национальной специфики русской и польской языковой системы.

Интерес к этой проблеме в последнее время значительно возрос. Это обнаруживается как в публикации теоретических работ на названную тему, так и в издании специальных одноязычных и двуязычных словарей (Мокиенко, Никитина, 2000; Kania, 1995; Anusiewicz, Skawiński, 1966; Czeszewski, 2006; Tokarz, 1998; Szałek, Nečas, 1993; Kusal, 2002; Šipka, 1999; Зинкевич, 2003 и др.).

Само понятие межъязыковой омонимии, как известно, является спорным. Во-первых, уже само определение статуса и границ омонимии (как внутриязыковой, так и межъязыковой) является необычайно трудным и вызывает ряд недоразумений. (см. Малаховский, 1990). По-разному, например, решается вопрос о том, следует ли относить к омонимам только слова или также единицы других языковых уровней. Диффузность статуса этого понятия до сих пор вызывает терминологический разнобой в лингвистической литературе (Кусаль, 2006).

Настоящая статья посвящена анализу явления межъязыковой омонимии в сфере субстандартной фразеологии на материале современного русского и польского языков. Объектом исследования явились 200 пар русско-польских субстандартных фразеологических единиц (ФЕ) омонимического характера.

Основная часть

Как известно, межъязыковая омонимия как языковое явление полного или частичного совпадения плана выражения языковых единиц при абсолютном или частичном отличии их плана содержания наблюдается не только в лексике, но и на других уровнях языковой структуры, в частности, на синтаксическом и фразеологическом. (см., напр., Сидоренко, 1966; Ройзензон, Эмирова, 1970).

Надо сказать, что лексика и фразеология субстандарта только в последние два десятилетия стала активно изучаться лексикологами и фиксироваться словарями, изданными в России и в Польше. Вопросы межъязыковой омонимии в области нормативной лексики и фразеологии давно стали объектом внимания лингвистов, в то время как явление межъязыковой омонимии в сфере субстандарной лексики и фразеологии даже родственных языков выпадают из поля зрения исследователей и отсутствуют как объект лексикографирования. Авторы вышеперечисленных словарей ложных друзей переводчика принципиально не включают в корпус все то, что традиционно остается за пределами литературной нормы; некоторые чураются даже разговорной лексики (Śipka, Tokarz, Szałek, Nečas). Вместе с тем, следует отметить, что русский и польский языки и в этой сфере богаты субстандарными лексическими и фразеологическими единицами (далее СФЕ) которые, будучи близкими по форме, но различными по содержанию, вступают в омонимические отношения.

Показательны в этом плане, в частности, русские жаргонно-просторечные слова, примарная семантика которых сохранилась в польских аналогах: *загнать* «продать; перепродать» // *zagnać*; *замазанный* «1. находящийся под наблюдением милиции; 2. скомпрометированный» // *zamazany*, *достать* «замучить, лишить спокойствия; сильно надоесть кому-л.» // *dostać*, *подставить* «поставить кого-л. в неловкое положение» // *podstawić*; *опустить* «1. унизить, оскорбить; 2. изнасиловать» // *opuścić*, *засыпать* «преподать, выдать кого-л.» // *zasypać*, *светиться* «появляться где-л.; быть заметным, замеченным где-л.» // *świecić się*, *капать* «доносить на кого-л.» // *karać*, *косить* «1. подражать кому-л.; 2. уклоняться от чего-л.» // *kosić*, *абажур* «голова» // *abażur*, *аккордеон* «плитка чая» // *akordeon* и др.

Иногда же, наоборот, русское слово соответствует литературной норме, но его польский омоним несет на себе жаргонную или терминологическую окраску, ср.: *академик* // *aka-*

demik «студенческое общежитие» //, глина // glina «полицейский, милиционер», гнет // gniot «мура, халтура», бетон – beton «человек консервативных взглядов, консерватор», гадание // gadanie «болтовня; вздор», выпад // wypad «поездка», жила – żyła «скупердяй»; жито – żyto «ржаная водка», оборвать // oberwać «получить по заслугам» и т.п. (ср. Норман, 2004).

Особого внимания заслуживают случаи абсолютной лексической межъязыковой омонимии на уровне субстандарта, например: ksywa «кличка, прозвище» // ксиwa «любой документ», bachor «незаконорожденный ребенок» // бахор «женщина легкого поведения, towar «девушка» // товар «краденая вещь, kantować «обманывать» // кантовать «бить», wisieć «задолжать» // висеть «находиться под стражей», ukorać «выдать кого-л.» // вкопать, zaprawić «ударить» // заправить szajba «психически больной» // шайба «лицо», kabel «доносчик» // кабель «дурак», кишкa «обжора» и ряд других (ср. Кусаль, 2006b:639-640).

Следует также подчеркнуть, что большинство русских и польских членов вышеприведенных субстандартных омопар выступает в качестве компонентов – доминант фразеологических единиц (ФЕ), например: русск. Шайбу забить «совершить коитус»; Заложить под бороду (за галстук, за воротник) «напиться пьяным», Шить дело «незаслуженно обвинять в совершении преступления», Смазать мозги кому-л. «избить кого-л.» и т.п.; польск. Nabić w butelkę «обмануть», Gruba ryba «важная птица», Odprawić z kwitkiem «оставить ни с чем» и т.п.

Таким образом, омонимичные отношения в сфере русско-польской субстандартной фразеологии формируются на основе омонимии лексической (как гомогенной, так и гетерогенной – ср. Кусаль 2006a:39).

В группе русско-польских фразеологических омонимов можно выделить два типа омонимических реляций, в которых участвуют русские и польские СФЕ:

1. **Внутриуровневая омонимия**, т.е. омонимия собственно фразеологических единиц, когда два фразеологизма [Ø], одинаковые в плане выражения, не совпадают в плане содержания; каждый из них в своем языке обладает самостоятельным значением (см. также Кусаль, 2004):

◊ Воды не замутит «очень скромен, тих, кроток» // ◊ Wody nie za-maći «никому не навредит, не помешает» ◊ Уткнуть нос во что-л. «не отрываясь, с увлечением читать, писать и т.п.» // ◊ Wetknąć nos w co, do czego «вмешаться, сунуться», ◊ В натуре «действительно,

в самом деле» // \diamond W naturze «получать вознаграждение; платить продуктами, товарами», и др.

2. *Межуровневая (или разноуровневая) омонимия*, т.е. омонимические отношения фразеологизмов и свободных сочетаний слов, в результате которых возникает омонимическая система, члены которой (свободное словосочетание // фразеологизм) принадлежат разным языковым уровням – синтаксическому и фразеологическому.

2.1. Оппозиция – СФЕ в русском // свободное сочетание в польском:

\diamond Банан в ушах «о человеке без музыкального слуха» // *Banan w uszach*, \diamond Смывать блат «продавать вещи скупщику краденого» // *Zmywać blat*, \diamond Развесить весла «бездельничать» // *Rozwiesić wiosła*, \diamond Темный глаз «поддельный документ» // *Ciemny głaz*, \diamond Рак головы «о какой-л. трудности, проблеме» // *Rak głowy*, \diamond Разбить витрину «изуродовать кому-л. лицо побоями» // *Rozbić witrynę*, \diamond Декреты писать «находиться в декретном отпуске» // *Dekrety pisać*, \diamond Быть на диете «временно прекратить употребление нецензурных выражений» // *Być na diecie*, \diamond Рисовать ноги «уходить, убегать» // *Rysować nogi*, \diamond Сидеть за кашель «находиться в заключении за подавание в другую камеру условных сигналов» // *Siedzieć za kaszel*, \diamond Выехать на козе «сдать экзамен без подготовки» // *Wyjechać na kozie*, \diamond На быках ехать «ехать на троллейбусе» // *Jechać na bykach*, \diamond ИграТЬ на гитаре «взламывать сейф» // *Grać na gitarze*, \diamond Шлифовать трассу «отвечать за свои дела, слова» // *Szlifować trasę*, \diamond Горячие бабки «деньги, заработанные проституцией» // *Gorące babki*, \diamond Подскочить на паре «приехать на такси» // *Podskoczyć na parze*, \diamond Завалить пасть «замолчать» // *Zawalić paść*, \diamond Поставить на уши «избить кого-л.» // *Postawić na uszy*, \diamond Вставить рамы «надеть очки» // *Wstawić ramy*, \diamond Под свечками «под ружьями» // *Pod świeczkami*, \diamond Грубая славянка «пассивный партнер, ведущий себя грубо» // *Gruba Słowianka*, \diamond Лепить слона «испражняться» // *Słonia lepić* и ряд других.

2.2. Оппозиция – СФЕ в польском // свободное сочетание в русском:

\diamond Na jednej nodze «быстро, как можно скорее» // **На одной ноге**; \diamond Wystawić do wiatru kogoś «обмануть; подвести кого-л.» // Выставить до ветру, \diamond Na oko «на глаз» // **На око**, \diamond Stroić miny «кривляться, строить гримасы» // **Строить мины**, \diamond Na zabój «сильно, безумно, страстно» // **На забой**, \diamond Przyczepić komuś łatkę

«приkleить ярлык кому-л., оговорить кого-л.» // досл. Прицепить латку кому-л., ◊ Klepać biedę «нищенствовать» // досл. Клепать беду; ◊ Mieć muchy w nosie «капризничать» // досл. Иметь мух в носу, ◊ Mieć myszki w głowie «бредить; фантазировать» - досл. Иметь мышек в голове и т.п.

Нетрудно заметить, что автоматический перенос с одного языка на другой омонимичных СФЕ становится причиной недопонимания при межнациональном общении и зачастую приводит к образованию во входном языке сочетаний, создающих порой комический эффект, например: ◊ Бесплатный пес «лагерный или тюремный охранник» // Bezpłatny pies, ◊ Фильтровать базар «быть осторожным в выражениях» // Filtrować bazar, ◊ Базары kleить «выяснять отношения» // Bazary kleić, ◊ Байки ryжие «золотые часы» // Bajki ryże, ◊ Трудная вода «водка» // Trudna woda, ◊ Гнать воду «обманывать, лгать» // Gnać wodę ◊ Лепить горбатого «1. рассказывать что-то смешное; 2. лгать» // Lepić garbałego, ◊ Забить митинг «договориться о встрече» // Zabić miting, ◊ Залепить скок «совершить квартирную кражу» // Zalepić skok, ◊ Конец мочить «совершать половой акт» // Koniec moczyć, ◊ Быть на луне «быть расстрелянным» // Być na lunie досл. «быть на зареве», ◊ Масло в чайнике «об очень умном человеке» // Masło w czajniku, ◊ Бабки ломать «обманывать» // Babki łamać, ◊ Рвать очко «сильно волноваться» // Rwać oczko; ◊ Законные бабки «деньги, хранящиеся в воровской кассе» // Zakonne babki, ◊ Быть на бабках «быть при деньгах» // Być na babkach, ◊ Доеный бык «жертва шулера» // Dojony byk; ◊ Szlifować bruki «шляться по городу без цели; бездельничать» // досл. Шлифовать брюки, ◊ Жаба душит (давит) кого-л. «о жадном, завистливом человеке» – Żaba kogoś dusi, ◊ Ставить на попа «ограбить кого-л.» // Stawiać na popa и т.п.

Выводы

Проведенный анализ показал, что из двух типов омонимический отnошений, в которые вступают русские и польские СФЕ, наиболее продуктивным является тип 2.1., т.е. реляция: СФЕ в русском // свободное сочетание в польском.

Следует также подчеркнуть, что в отличие от омопар в сфере нормативной фразеологии русскому жаргонному (или просторечному) фразеологизму не всегда соответствует в польском арготизм – т.е. реляция *субстандарт/субстандарт* встречается значительно реже и в нашем материале представлена всего 15

омопарами типа: ◊ **Пустить в трубу** 1. «разорить, лишить денег, имущества»; 2. «тратить, расходовать зря, безрассудно» // ◊ **Puścić w trąbę** «порвать отношения с кем-л., покинуть, бросить кого-л.» // ◊ **От руки** «ручным способом» // ◊ **Od ręki** «сразу, немедленно», ◊ **На зубок** «в подарок новорожденному» // ◊ **Na ząbek** «на закуску» и под.

Приведенный выше материал однозначно указывает на то, что межъязыковая фразеологическая омонимия в сфере субстандарта – реальный лингвистический факт, требующий специального изучения. Многие субстандартные фразеологические единицы, обладая интерференционным потенциалом, создают иллюзию взаимопонимания и являются камнем преткновения при передаче текста с одного языка на другой. В настоящее время наблюдается активное использование в устной речи слов, словосочетаний и устойчивых выражений из сферы субстандарта, главным образом, из сферы просторечия и жаргона. И хотя эти русские и польские лексемы находятся на периферии словарного состава – для межъязыкового сопоставления они представляют несомненный интерес также как один из *источников* русско-польской межъязыковой омонимии.

Как уже было отмечено выше, несмотря на многоаспектное сопоставление лексических и фразеологических составов близкородственных языков, русская и польская фразеология, совпадающая в плане выражения, но семантически неадекватная, остается пока еще недостаточно изученной.

Вместе с тем такой материал несомненно может стать базой научных исследований, в частности, для типологических и сравнительно-исторических изысканий в области лексической семантики русского и польского языков.

Лексикографическое же описание межъязыковых субстандартных фразеологических омопар решает многие другие задачи. Таковы, например, совпадение-несовпадение главных и *второстепенных* значений, сопоставление различных семантических объемов фразем различных языков, расширение-сужение значений, совпадение-несовпадение стилистических, грамматических и других характеристик.

Регулярность лексических расхождений между двумя языками заставляет рассматривать факты межъязыковой омонимии на фоне того общего свойства языка, которое принято называть идиоматичностью, с которой связаны ограничения в возможностях перевода с языка на язык. Изучение межъязыковой субстан-

дартной омонимии лишний раз убеждает нас в том, что именно этот пласт лексики (вместе с фразеологией) составляет наиболее самобытную, „самовитую” часть языка.

И, наконец, приведенный материал может стать составной частью не только сопоставительного словаря межъязыковых омонимов, но также двуязычного русско-польского словаря *активного*, в котором явление межъязыковой субстандартной омонимии будет занимать надлежащее место. Составленный таким образом словарь – это больше, чем традиционный обычный словарь; он должен быть своеобразной энциклопедией языка перевода, способной дать читателю разнообразные необходимые сведения.

ЛИТЕРАТУРА

- Бирих А., 2000, *Фразеология в русском и хорватском субстандарте*, *Słowo. Tekst. Czas VI*, Szczecin-Greifswald с.34.
- Зинкевич А. В., 2003, *Болгарско-русский дифференциальный словарь с белорусскими соответствиями*, Минск.
- Кусаль К., 2004, *Русско-польская межъязыковая омонимия в сфере фразеологии*, *Žmogus ir Žodis . Svetimosios kalbos. Mokslo darbai*. – Vilnius, t. 6, Nr 3, с. 15-20.
- Кусаль К., 2005, *Русско-польская субстандартная лексика как источник межъязыковой омонимии*, [w:] *Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład*. Wrocław, s. 155-160.
- Кусаль К. Ч., 2005а, *Русско-польская межъязыковая омонимия и паронимия*. С.-Петербург
- Кусаль К. Ч., 2006b, *Субстандартная межъязыковая омонимия как объект лексикографирования*, [в:] *Слово в словаре и в дискурсе*. Сб. научных статей к 50- летию Харри Вальтера, Москва, с. 638-642.
- Малаховский Л. В., 1990, *Теория лексической и грамматической омонимии*. Ленинград.
- Мокиенко В. М., 2000, Никитина Т.Г., *Большой словарь русского жаргона*. Санкт-Петербург.
- Норман Б. Ю., 2004, *О некоторых аспектах межъязыковой омонимии*, *Полонистика 2002/2003*, Минск
- Ройзензон Л. И., Эмирова А. М., 1970 *Фразеологическая и лексическая омонимия* // *Вопросы фразеологии*. Вып. 3. Самарканд.
- Сидоренко М. И., 1966, *О фразеологических омонимах*, Сб. *Вопросы русской фразеологии*, Уч. Зап. МОПИ им. Н. К. Крупской, т. 160, вып. 11, М., с. 253.
- Химик В. В., 1966, *Поэтика наизкого или просторечие как культурный феномен*. Санкт-Петербург 2000.

- Химик В. В., 2004, *Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи*. Санкт-Петербург.
- Anusiewicz J., Skawiński J., 1996, *Słownik polszczyzny potocznej*. Wrocław.
- Czeszewski M., 2006, *Słownik polszczyzny potocznej*. Warszawa.
- Kania S., 1995, *Słownik argotyzmów*. Warszawa.
- Kusal K., 2001, Фразеология в русско-польском словаре межъязыковых омонимов, [w:] *Frazeografia słowiańska*. Opole, s. 373-377.
- Kusal K., 2002, *Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych*. Wrocław.
- Šipka D., 1999, *Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima / Słownik serbsko-polskich homonimów i paronimów*. Poznań.
- Szałek M., Nečas J., 1993, *Czesko-polska homonimia*. Poznań.
- Tokarz E., 1998, Pułapki leksykalne. *Słownik aproksymatów polsko-chorwackich*. Katowice.

Substandard Phraseology as a Source of Interlingual Russian-Polish Homonymy Summary

This article deals with the phenomenon of interlingual homonymy in substandard phraseology. The research was based on the analysis of the pairs of Russian and Polish substandard phraseological units with identical or similar structure but different meaning, which are related to each other in two ways: so called intralevel and interlevel homonymy.

The research and description of substandard phraseological units of both languages is important from the point of view of both theoretical and applied linguistic. The comparative description of the subsystems (different levels) of Polish and Russian may become the part of general typological description of Slavonic languages, recreate objective picture of similarities and differences of vocabulary and phraseology of related languages, show their reflection in lexicographical mirror, give their theoretical interpretation.

The results of this research are applied to teaching Polish and Russian in the universities of Russia and Poland, because they can be used during seminars and courses of Slavonic phraseology and substandard vocabulary.

Key words: *Slavonic languages, phraseology, interlingual homonymy, substandard, interlevel and intralevel homonymy.*

Ирина Труфанова

Московский городской педагогический университет (Россия)
tasildus@mail.ru

Структура эстетического знака

Вводные замечания

Автор ставил перед собой цель доказать, что вторая сторона эстетического знака представляет собой «функциональный эквивалент понятия» (по Л. С. Выготскому) и совпадает с «приращенными» в художественном произведении значениями.

Основная часть

В конце XIX – начале XX века в теории познания возник кризис от осознания несовместимости между освоением мира через понятия и его освоением через чувственность (Гумбрехт, 2006; Neumann, 1976, 51). Обнаружилось, что развитие познания шло как развитие отношения к миру как миру значений (Гумбрехт, 2006, 11), что наша повседневность – это мир значений, поэтому современный человек не ощущает своего соприкосновения с миром (Гумбрехт, 2006, 109, 59), что люди стремятся к эстетическому переживанию, так как в нём значение не подавляет присутствия, и человеку, воспринимающему произведение искусства, в момент этого восприятия возвращается чувство бытия в мире, чувство, что он является физической частью мира, что мы заодно с миром (Гумбрехт, 2006, 75, 111, 119 – 120). В связи с этим открытием Х. У. Гумбрехт, пытаясь понять, почему искусство возвращает воспринимающему его чувство единоприродности с миром, выдвинул следующую теорию эстетического знака. Эстетический знак включает в себя две стороны: знак как значение, семиотический знак (чтобы анализировать эффекты значения в произведении искусства), и аристотелевскую вещь-знак, или несемиотический знак (чтобы характеризовать эффекты присутствия) (Гумбрехт, 2006, 113, 137). Эффекты присутствия проникнуты отсутствием, такой вывод делается из того факта, что у читателя, зрителя, слушателя возникает ощущение, что присутствие нельзя удержать. Х. У. Гумбрехт обозначает данное ощущение термином эпифания (Гумбрехт, 2006, 114, 116) и видит корреляцию колебания между ощущением присутствия и его исчезновением и колебания между эффектами присутствия

и эффектами значения в художественном тексте (Гумбрехт, 2006, 110).

Соглашаясь с Х.У. Гумбрехтом, что эстетический знак имеет двойственную природу, мы выделяем в нем другие части, нас не устраивает принципиальная неопределенность эпифании (Гумбрехт, 2006, 61). Одна часть эстетического знака – понятие. Художник не отразит объективно мир, если не будет мыслить научными понятиями (доказательство данного положения см: Никифорова, 1972). Мыслить понятиями – значит отделять себя как субъекта познания от мира как объекта познания. Другая часть эстетического знака – открытый Л. С. Выготским «функциональный эквивалент понятия» – синкрета или комплекс (Выготский, 1982), в котором познающий, отражающий мир субъект не отделяет себя от окружающего (Труфанова, 2006). Носителем и понятия, и функционального эквивалента понятия в художественном тексте является слово. П. Кюглер продемонстрировал, что язык, речь, слово передают информацию не только о работе сознания говорящего и ее продуктах (результатах), но и о его бессознательном, иррациональном (Кюглер, 2005). Функциональный эквивалент понятия – продукт сознания и бессознательного. Носителем научного понятия слово в художественном тексте является автоматически, уже потому, что оно употреблено, значение его известно автору и читателю. Функциональный эквивалент понятия мы «вычитываем» в том же слове, которым выражено понятие, постепенно, устанавливая соотношения данного слова с окружающими его словами, благодаря которым функциональный эквивалент понятия предстает перед нами как мотивированная единица, с внутренней формой.

В двадцатые годы XX века лингвисты обнаруживают, что слово в художественном тексте приобретает, «приращивает», значения, которых у него не существует в языке, вне данного художественного произведения (Ларин, 1974; Труфанова, 1992; Тынянов, 1965). Впоследствии были описаны механизмы такого приращения: Н. В. Павлович – как приобретение словом значений соседних слов (Павлович, 1982, 5-8), С. Т. Золяном – как приписывание словам-соседям или словам, занимающим сходные позиции в стихе, общих классификаторов (Золян, 1986, 401-408). Мы подводим слова с приращенными значениями под общую категорию (Труфанова, 2006). Три названных методики научного анализа не противоречат друг другу.

Основные признаки эстетического знака – мотивированность и интранзитивность, под интранзитивностью мы понимаем его

многозначность, не снимающуюся ни в целом художественном произведении, ни во фразе, а также неравенство такого многозначного слова самому себе в разных фрагментах текста (отсутствие полной эквивалентности, тождества). Какие-то два употребления такого слова могут соотноситься как пересекающиеся понятия, два других употребления – как соподчиненные понятия, или противоположные, или находящиеся в отношениях подчинения. Многозначность художественного слова – залог множественности интерпретаций художественного произведения (см.: Золян, 1981). «Приращенные» в художественном произведении значения имеют природу функциональных эквивалентов понятий – синкет или комплексов. В «приращенных» (художественных, по Б. А. Ларину) значениях в художественном произведении может проявляться коллективное бессознательное и обязательно проявляется бессознательное автора. Выявление приращенных значений – метод изучения бессознательного в художественном тексте.

Поскольку музыка и поэзия считаются в большей мере произведениями искусства, чем все другие (Гумбрехт, 2006, 30), природу эстетического знака мы продемонстрируем на примере стихотворений Г. В. Иванова о поэте и поэзии.

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», посвященное теме поэта и поэзии, и сегодня остается загадкой, о том, что такое «свобода и покой», «желание забыться и заснуть», высказывались диаметрально противоположные точки зрения. См. их реферат: «Психологическая и моральная утопия свободы и покоя» (Д. Н. Овсянникова-Куликовский) как вечно длящегося блаженства получили в литературе разноречивые философские оценки: для одних это – «деятельный покой» в едином ритме с жизнью целого, для других напротив, – «древотная нирвана», растворение в космической «безмятежности». В стихотворении, действительно, есть тона глубокой и трагической усталости, однако мир и отрада («Ветка Палестины») всегда были для Лермонтова высокими ценностями и подчас пределом бурных стремлений; они противостоят деятельной жизни не как угасание, а как исход. В настоящем стихотворении желанные «мир и отрада» облекаются в образ вечного расцвета, обретают, по замечанию Д. Максимова, черты «космического эроса», – это «природы жаркие объятья» («Демон»), «которые, быть может, в ином плане бытия вновь раскроются навстречу дальнему изгнаннику» (Роднянская, 1981, 96).

Своё понимание лермонтовского шедевра высказал поэт Г. В. Иванов и сделал это в стихах. Основная, если не единственная, тема лирики Г. В. Иванова – это тема поэта и поэзии: или его стихотворения посвящены только ей, или она поднимается в них по-путно с другой темой («Душа черства. И с каждым днём черствей», «Эоловой арфой вздыхает печаль», «Перед тем как умереть», «От синих звёзд, которым дела нет», «Снег уже пожелтел и обтаял», «Мы из каменных глыб создаем города», «На один восхитительный миг», «Меняется прическа и костюм», «Это только бессмысленный рай», «В глубине, на самом дне сознанья», «Я слышу – история и человечество», «Ни светлым именем богов», «На границе снега и таянья», «По улицам рассеяно мы бродим», «На грани таянья и льда», «Сознанье, как море, не может молчать», «О нет, не обращаюсь к миру я», «Я твердо решился и тут же забыл», «То, что было и то, чего не было», «Друг друга отражают зеркала», «Поэзия: искусственная поза», «Стало тревожно - прохладно»). Тема поэта и поэзии, поэтического дара вообще настолько актуальна для литературы XX века, что стала даже темой прозы, напр., у В. В. Набокова, в «Тёмных аллеях» И. А. Бунина появляется образ Музы Граф (пишущей) как любовницы, ушедшей к другому. Видимо, в жестокий XX век нужно было найти цель, задачи, оправдание поэзии в жизни общества и поэта заново.

«Свобода и покой», какими «мечтал забыться и заснуть» М. Ю. Лермонтов, по Г. В. Иванову, – это состояние, испытываемое в момент создания стихов, не тогда, когда они написаны, не удовлетворение, что ты создал шедевр(ы), не упоение славой, признанием публики, а радость процесса начала творения. Докажем данное положение. Во-первых, у Г. В. Иванова есть стихи, в которых выражается желание забыться и заснуть: «Не обманывают только сны», «Жизнь пришла в порядок», «Глядя на огонь или дремля»; во-вторых, стихи, в которых цитируется «Выхожу один я на дорогу» и/или упоминается имя М. Ю. Лермонтова: «Мелодия становится цветком», «История. Время. Пространство», «Туман, передо мной дорога», «Все розы завяли. И пальма замерзла», «Ветер с Невы. Леденеющий март», «Я не стал ни лучше и ни хуже», «Если бы я мог забыться», «Образ полуусвиренний» и др. Г. В. Иванов утверждает, что поэт «сливает счастье и страданье в неясной прелести земной» (Иванов, 2008, 303), в поэзии «неразрывное слиянье» - «сиянье» «добра и зла, добра и зла смысл, раскаленный добела» (Иванов, 2008, 36), «соединение в создании одном прекрасного раздробленных частей» (Иванов,

2008, 54). В-третьих, в стихах Г. В. Иванова много цитат и реминисценций из других поэтов, приводимых им для того, чтобы показать, что и они «мечтали забыться и заснуть». Напр., в стихотворении «Полутона рябины и малины» отсылки к А. С. Пушкину, Гомеру, Лермонтову, цитата «Как хороши, как свежи были розы» из И. Мяглева, И. С. Тургенева, И. Северянина. «Полутона рябины и малины (...) В упражке скифской трепетные лани – мелодия, элегия, эвлега... Скрипящая в трансцендентальном плане, Немазаная катится телега. На Грузию ложится мгла ночная. В Афинах полночь. В Пятигорске грозы. ...И лучше умереть, не вспоминая, Как хороши, как свежи были розы» (Иванов, 2008, 166). В-четвертых, состояние поэта в «забытье», «сне», о которых идёт речь, предстаёт у Г. В. Иванова как свет, сияние: свет свечи, заката, рассвета, звёзды, луча солнца, серебряного камешка, брошенного детской рукой, электрического освещения арены цирка, маяка, неземного сияния, «смысла добра и зла, раскаленного добела», огня, имени Бога. «Эоловой арфой вздыхает печаль, И звёзд восковых зажигаются свечи, И дальний закат – как персидская шаль, Которой окутаны нежные плечи (...) О если бы стать восковою свечой! О если бы стать бездыханной звездою! О если бы тусклой закатной парчой Бессмысленно таять над томной водою!» (Иванов, 2008, 91).

Наконец, это свет божественного знания, истины, вечности открывающейся поэту. «В глубине, на самом дне сознанья, Как на дне колодца – самом дне – Отблеск нестерпимого сияния Пролетает иногда во мне. Боже! И глаза я закрываю От невыносимого огня. Падаю в него... И понимаю, Что глядят соседи по трамваю Странными глазами на меня» (Иванов, 2008, 85), «От синих звёзд, которым дела нет До глаз, на них глядящих с упованьем, От вечных звёзд – ложится синий свет Над сумрачным земным существованием. И сердце беспокоится. И в нём – О, никому на свете не заметный – Вдруг чудным загорается огнём Навстречу звёздному лучу – ответный. И надо всем мне в мире дорогим Он холодно скользит к границе мира, Чтобы скреститься там с лучом другим, Как золотая тонкая рапира» (Иванов, 2008, 87).

Свет, видимый и незрячим поэтом: «Меняется прическа и костюм (...) Слепой Гомер и нынешний поэт, Безвестный, обездоленный изгнаньем, Хранят один – неугасимый! – свет, Владеют тем же драгоценным знанием (...)» (Иванов, 2008, 206).

В состоянии творения стихов, по Г. В. Иванову слова рассыпаются, значения их обессмысливаются, забываются: «Это вам

говорю из Парижа я То, что сам понимаю едва» (Иванов, 2008, 115), «Гляди в холодное ничто, В сиянье постигая то, Что выше пониманья» (Иванов, 2008, 137), «В собственной бессмыслице сгореть» (Иванов, 2008, 300), «Рассыпаются слова и не значат ничего» (Иванов, 2008, 58), «Исчезает имя и отчество, и фамилия расплывается» (Иванов, 2008, 194), «И вижу беспамятство или мученье, где всё навсегда потеряло значение» (Иванов, 2008, 59), «Жду, когда исчезнут все слова и душа провалится в сиянье» (Иванов, 2008, 301).

Это обеззначивание входит в более широкую категорию – иррациональное, бессознательное, познаваемое до-понятийно.

Г. В. Иванов говорил (не в стихах), что «дело поэта – создать “кусочек вечности” ценой гибели всего временного – в том числе, нередко, ценой собственной гибели» (по: Смирнов, 2008, 5). Состояние «забытья» поэта наделяется в стихах Г. В. Иванова семой «бессмертие», «вечность». «Не думает каждый – постой, А может быть, мне и приснится Бессмертия сон золотой» (Иванов, 2008, 334), «Стихи и звезды остаются, А остальное – всё равно» (Иванов, 2008, 239), «Допустит как поэт, я не умру» (Иванов, 2008, 117), «С детства знакомое чувство, – Чем бы бессмертье купить, Как бы салазки искусства к летней грозе прицепить» (Иванов, 2008, 168).

Это сияние (свет) относится к сфере прекрасного, красоты, так как, будучи безмерно важным, в практической жизни утилитарного значения оно лишено вовсе. «Всё в этом мире по-прежнему. Месяц встаёт, как вставал, Пушкин именье закладывал Или жену ревновал. И ничего не исправила, Не помогла ничему Смутная, чудная музыка, Слышная только ему» (Иванов, 2008, 86), «Ничего не может изменить И не может ничему помочь, То, что только плачет и звенит, И туманит, и уходит в ночь...» (Иванов, 2008, 34).

Самый частотный троп в поэзии Г. В. Иванова – антитеза. Состояние вдохновения, испытываемое в момент «забытья», творения, передается именно антитезой. «На грани таянья и льда Зеленоватая звезда. На грани музыки и сна Полузима, полувесна» (Иванов, 2008, 135). «На грани снега и таянья, Неподвижности и движения, Легкомыслия и отчаяния – Сердцебиение, головокружение... (...) Точно звёзды, встают пророчества, Обрываются! ... Не сбываются» (Иванов, 2008, 194). «Образ полусотворённый, Шепот недоговорённый, Полужизнь, полуусталость» (Иванов, 2008, 126). «О нет, не обращаюсь к миру я И вашего не жду признания. Я попросту хлороформирована Поззией своё сознание И наблюдаю

с безучастием, Как растворяются сомнения, Как боль сливается со счастием В сиянье одревеснения» (Иванов, 2008, 209).

Творение стихов, по Г. В. Иванову, органично, как жизнь, – субъект, творящий стихи, не отделяет себя от вселенной – объекта своего изучения. «Я твёрдо решился и тут же забыл, На что я так твёрдо решился. День влажно-сиренево-солнечный был, И этим вопрос разрешился. Так часто бывает: куда-то спешу – И, в трепете света и тени, Сначала раскаюсь, потом согрешу И строчка за строчкой навек запишу Благоуханье сирени» (Иванов, 2008, 196), «То, что было, и то, чего не было, То, что ждали мы, то, что не ждём, Просияло в весеннее небо, Прошумело коротким дождём. Это всё. Ничего не случилось. Жизнь, как прежде, идёт не спеша. И напрасно в сиянье просилась В эти четверть минуты душа» (Иванов, 2008, 212).

Состояние творца в момент творения не только счастье, но и скука, грусть, боль, трудность (ср.: «Что же мне так больно и так трудно», «И скучно, и грустно» у М. Ю. Лермонтова). «Полужалость. Полу-отвращенье, Полу-память, полу-ощущенье, Полу-неизвестно что, Полы моего пальто... Полы моего пальто? Так вот в чем дело! Чуть меня машина не задела И умчалась в даль, забрызгав грязью, Начал вытираять, запачкал руки... Всё ещё мне не привыкнуть к скуке, Скуке мирового безобразья!» (Иванов, 2008, 172).

П. Бицилли видел в приведенных примерах «утверждение в творчестве Г. В. Иванова Ничего» (Смирнов, 2008, 351). В. Смирнов, наоборот, полагал, что у Г. В. Иванова поэзия преподносится «как вечное состояние бытия, как свидетельство подлинности мира и человека» (Смирнов, 2008, 23). «Между» и «полу» Г. В. Иванова, его «сияния» подводятся под категорию, выделенную К. Юнгом в мифах о предвечном младенце: «ещё неотделённость из небытия, но всё же бытие» или «ещё – неотделённость от бытия, но всё же небытие», или «колебание новорождённого и умершего между бытием и небытием» (Юнг, 1997, 84). Г. В. Иванов пишет о процессе создания стихов почти словами К. Юнга: «По дому бродит полуночник – То улыбнётся, то вздохнёт, то ослабевший позвоночник Над письменным столом согнёт. (...) Нельзя сказать, что я живу. (...) ...Так труп в песке лежит не тлея, И так рождается дитя» (Иванов, 2008, 141).

Предвечного младенца в мифах часто представляют как сияющее золотое яйцо, сияние, поднимающееся из океана (ср.: сияние у Г. В. Иванова). «Феномен рождения “младенца” всегда

приводит к изначальному психологическому состоянию неузнавания, то есть мрака или сумерек, неразличности субъекта и объекта, состоянию бессознательного тождества человека и вселенной. Эта фаза неразличения производит золотое яйцо, которое является и человеком, и вселенной но в то же время ни тем, ни другим, но иррациональным третьим» (Юнг, 1997, 110).

В мифе о предвечном младенце первобытным человеком переживается радость по поводу обретения сознания, выделения последнего из бессознательного. «Примитивный склад ума отличается от цивилизованного в основном тем, что сознание намного менее развито в плане протяженности и интенсивности. Такие функции, как мышление, воля и т.п. еще не дифференцированы, они до-сознательны. Напр., в случае мышления это проявляется в том обстоятельстве, что дикарь не мыслит сознательно – его мысли появляются сами. Дикарь не может утверждать, что он думает; скорее это “что-то думает в нем”. Спонтанность акта мышления каузально зависит не от его сознания, но от его бессознательного. Более того, он не способен ни на какое сознательное усилие воли, он должен привести себя в “настроение волнения” или позволить привести себя к нему (...) Сознанию дикаря угрожает всемогущее бессознательное (...) По причине неизменного сумеречного состояния его сознания зачастую невозможно выяснить, только ли при приснилось ему что-то или же он пережил это в действительности, для него самого невозможнo» (Юнг, 1997, 88-89).

Миф о предвечном младенце в наши дни выполняет иную функцию, чем в первобытном обществе, – служит напоминанием о единоприродности человека с космосом, оберегает человека от односторонности субъектно-объектного отношения к миру. «Мотив младенца представляет не только то, что существовало в далёком прошлом, но и кое-что существующее сейчас; другими словами, это не простоrudиментарный остаток, но система, функционирующая в настоящем, цель которой заключается в том, чтобы существенно компенсировать или скорректировать неизбежные односторонности и нелепости сознания. По природе сознанию свойственно сосредоточиться на относительно малой части содержания и поднимать её до высшей степени ясности. Необходимый результат и предпосылка – это исключение прочих возможных содержаний сознания. Это исключение с необходимостью вызывает определенную односторонность содержания сознания. Поскольку дифференцированное сознание цивилизованного человека наделено эффективным инструментом для

практической реализации этого содержания посредством динамики его воли, существует тем большая опасность заключить себя в односторонности и всё дальше и дальше отклоняться от законов и корней существования сознания, чем больше он будет тренировать эту волю. С одной стороны, сознание, воля означает возможность человеческой свободы, но с другой – это источник бесконечных преступлений против своих инстинктов. Наше дифференцированное сознание пребывает в постоянной опасности отрыва от своих корней и поэтому нуждается в компенсации, которую может дать ещё существующее детство» (Юнг, 1997, 98-99).

Г. В. Иванов как поэт не только дает возможность читателю ощутить свою единоприродность с миром, он преподносит как задачу поэта дать читателям возможность такого ощущения.

Наша статья не дает полного представления, как Г. В. Иванов до-понятийно представлял назначение поэта и поэзии, поскольку мы выбрали для анализа только стихи, имеющие отношение к лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу». В. В. Виноградов, С. Т. Золян, Н. В. Павлович описывали приращение значений в одном художественном произведении. Мы обратились к десяткам стихотворений Г. В. Иванова и увидели, что приращенные к слову значения – это или значения других слов из стихотворения, или значения слов, называющих категорию, под какую подходят выражаемые словами-соседями в сумме и в то же время выражаемые небуквально смыслы. Небуквально не значит в данном случае фигурально, общая категория, под которую мы подводим заражающие друг друга своими значениями слова, – это результат отгадки, чему дается определение совокупностью данных слов в их пересечении, или противопоставлении, или соподчинении.

Методика установления приращенных значений в одном произведении и в нескольких, в целом творчестве поэта одна и та же в данном случае потому, что Г. В. Иванов принадлежит к числу авторов нескольких постоянно повторяющихся тем, как В. В. Набоков, М. М. Пришвин, Ф. М. Достоевский, обратившись к одному стихотворению, мы рисковали не «понять» его.

Творение у Г. В. Иванова приращивает значения: жизнь, миг, вечность, смерть, между жизнью и смертью, любовь, знание, незнание, сердцебиение, головокружение, сияние, огонь, пламя, рай, ад, забвение, память, лёд, обледенение, одервенение, мелодия, музыка, звучание, полустихотворенное, цветок, звон, сон, сон во сне, огромное, страшное нежное, безнадежное, земное, неземное, свет, тьма, холод, песня, скука, грусть, печаль, бессмыслица, плач,

туман, смутное, чудное, звезда, весна, полузыма, полувесна, полужизнь, полуусталость, недоговоренность, шепот, пророчество, ошибка, грех, раскаяние, ожидание, несбывшееся ожидание, счастье, боль, слияние, безучастие, история и т.д. Всё перечисленное складывается в универсум, космос и потусторонний мир в их гармонии. Мы проанализировали лишь наиболее часто встречающиеся приращенные значения, их частность – свидетельство занимаемого ими высокого места в иерархии приращенных значений. Это сияние, красота (гармония, прекрасное), страда (скука, труд), между бытием и небытием, единство творца и вселенной, бессознательное (до-понятийное). Приращенные значения являются примером такого функционального эквивалента понятия, как синкрета (Труфанова, 2006). Значения приращиваются ко всем перечисленным словам, поэтому в стихах о поэте и поэзии слова творчество, творение, вдохновение, стихи, поэзия и т.п. у Г. В. Иванова, как правило, отсутствуют, вместо них появляются полувесна, сияние, свет, головокружение и т. д.

Выводы

Итак, эстетический знак включает в себя две стороны: сознательную (ей соответствует научное понятие, выражаемое словом) и бессознательное (передаваемое функциональным эквивалентом понятия – синкретой или комплексом, выражаемым реже словом – кармашком, как у Л. Кэрролла, чаще через отношение слова с другими словами, «заражающими» его своими значениями, создающими тем самым его внутреннюю форму, мотивированность в данном тексте). Понятие в большой мере статично, оно фиксирует познанное, создавая фундамент для дальнейшего познания. Функциональный эквивалент понятия дикамичен, поэтому он позволяет поэту и читателю пережить его обретение и вместе с тем и обретение понятия, выводя последнее из состояния автоматизма.

ЛИТЕРАТУРА

- Выготский Л. С., 1982, *Мышление и речь* // Собр. соч.: В 6 тт: Т. 2. М.: Педагогика.
- Гумбрехт Х. У., 2006, *Производство присутствия, чего не может передать значение*. М.
- Золян С. Т., 1986, *Поэтическая семантика и семантико-композиционная организация поэтического текста*: Д. Д. Ереван, С. 401-408.

- Золян С. Т., 1981, *Семантическая структура слова в поэтической речи* // ИАН СССР. СЛЯ. - №6. - С. 509-520.
- Иванов Г. В., 2008, *Стихотворения*. М.: Эксмо.
- Кюглер П., 2005, *Алхимия дискурса. Образ, звук и психическое*. М.: ПВРСЭ.
- Ларин Б. А., 1974, *Эстетика слова и язык писателя*. М.: Худож. лит.
- Никифорова О. И., 1972, *Исследование по психологии художественного творчества*. М.: МГУ,
- Павлович Н. В., 1982, *Семантика оксюморона: АКД*. М.
- Роднянская И. Б., 1981, *Выхожу один я на дорогу* // *Лермонтовская энциклопедия*. М.: Сов. энцикл. С. 95-96.
- Смирнов В., 2008, *Примечания* // Иванов Г. В. *Стихотворения*. М.: Эксмо, С. 349-369.
- Смирнов В., 2008, *Смысл, раскаленный добела* // Иванов Г. В. *Стихотворения*. М.: Эксмо. С. 5-26.
- Труфанова И. В., 1992, *Вопрос о комбинаторных приращениях смысла в трудах В. В. Виноградова* // Рук. Деп. в ИНИОН РАН №469131 от 13.08.1992.
- Труфанова И. В., 2006, *Функциональные эквиваленты понятий как объект языковой игры в литературе абсурда, нонсенса, игровой поэтики* // *Девятые междунар. Виноградовские чтения. Функционирование языка и речи*. М: МГПУ. С. 208-214.
- Тынянов Ю. Н., 1965, *Проблема стихотворного языка*. М.: Сов. писатель.
- Юнг К. Г., 1997, *Душа и миф. Шесть архетипов*. М.-К.: ЗАО «Совершенство» Port-Royal.
- Neumann G., 1976, v. Einleitung // *Der Aforismus: zur Geschichte und Moglichkeiten einer literarischen Gattung*. Darmstadt. S. 1-18.

The Nature of the Aesthetical Sign Summary

This article deals with linguistic poetics (see the works of B. A. Larin, V. V. Vinogradov, U. N. Tinyanov, I. I. Revzin, S. T. Zolyan, N. Y. Pavlovich and others).

The aesthetical sign is defined as a unity of the concept and as a functional equivalent of the concept discovered by L. S. Vigotskiy.

The functional equivalent of concepts coincides with the artistic meaning of the word. The nature of the aesthetical sign is demonstrated on the materials of G. V. Ivanov's verses about a poet and poetry, what allows to reveal the poet's comprehension of their function.

Key words: *aesthetical sign, concept, functional equivalent of concept discovered, G. V. Ivanov.*

Анна Жаркова

Вильнюсский педагогический университет (Литва)
azarkova@gmail.com

Церковно-религиозный стиль современного русского литературного языка и его функционирование в Литве

Вводные замечания

Церковно-религиозный стиль современного русского литературного языка, не упоминаемый в работах по стилистике советского периода, в настоящее время активно изучается светскими исследователями. Подтверждением изменившегося в общественном языковом сознании взгляда на веру является наличие в словарях, вышедших в постсоветский период (например, Скляревская, 2001:54) рядом со словами *безбожник, безбожие и безбожный* оценочной стилистической пометы *неодобр. - неодобрительное*. Сравните со словами *атеист, атеизм и атеистический*, которые рассматриваются в упомянутом словаре как стилистически нейтральные.

Цель статьи - рассмотреть языковую специфику церковно-религиозного стиля современного русского литературного языка, а также особенности языкового функционирования в церковно-религиозной сфере в Литве.

Задачи - 1) рассмотреть языковые особенности церковно-религиозного стиля и его влияние на речевую культуру общества; 2) отметить специфику использования стилистически окрашенных языковых средств в подстилях и жанрах церковно-религиозного стиля; 3) рассмотреть особенности языкового функционирования в церковно-религиозной сфере в Литве.

В работе используется описательный метод исследования и стилистический анализ текстов. Материалом исследования послужили тексты письменных и устных жанров церковно-религиозного стиля, таких как молитва, тропарь, кондак, величание, проповедь, послание, слово, обращение, беседа, лекция устная и письменная, а также запись лекции на плёнку, современная религиозная публицистика, указанная в списке литературы к статье, как источник текстов церковно-религиозного стиля.

Основная часть

Церковно-религиозный стиль, обслуживающий церковно-религиозную сферу - это один из книжных стилей современного русского литературного языка, - стиль церковных книг, проповедей священников, стиль русского перевода богослужебных книг. Язык церковно-религиозного стиля, несмотря на то, что в постсоветское время православные иерархи выступают на телевидении и в прессе, является языком посвящённых. В этом смысле его можно сопоставить с языком научного стиля. На практических занятиях по стилистике со студентами филологического факультета Вильнюсского педагогического университета студенты среди групп слов с разными видами функционально-стилистической окраски легко выделяют группу слов с окраской религиозное и церковное, но значения большинства из этих слов не знают не только студенты, окончившие литовские и польские школы, но и студенты русской группы.

Церковно-религиозный стиль не следует смешивать с церковнославянским языком. Церковнославянским называется язык сделанного перевода с греческого на древний славянский язык священных книг, то есть это язык славянских христианских книг, принесённых на Русь при крещении в 988 году. Двусоставное наименование учитывает функцию языка (церковный) и его этническую принадлежность (славянский). В истории этого языка выделяются временные периоды - древнечерковнославянский, среднечерковнославянский и новоцерковнославянский (Верещагин, 2001). Церковнославянский, русский, украинский и белорусский языки происходят из одного общего славянского языка.

Сфера церковно-религиозной общественной деятельности является сферой двуязычия: в одних языковых ситуациях используется церковнославянский язык, а в других - современный русский литературный язык в его церковно-религиозном стиле.

Церковнославянский язык - это культовый язык православных народов, на котором ведётся богослужение в церквях и составлены молитвы.

Подавляющая часть слов церковнославянского языка - это слова, имеющие общеславянские корни. Это обслуживающие христианский культ слова - *Святая Троица, Бог-Отец, Богородица, вера, надежда, любовь, добро, зло, грех, пост*.

Некоторые славянские слова отличаются от русских неполногласием: *глас - голос, врата - ворота*. В толковых словарях эти неполногласные слова, не отличающиеся по значению от ней-

тральных в современном русском языке слов с полногласием, снабжены стилистической пометой *стар.*, то есть старинное. Возможно и обратное соотношение: так слово *пламя* в современном русском литературном языке является нейтральным, а слово *поплымя* областным. В других парах церковнославянских и русских слов первые относятся по стилистической окраске к высоким, а вторые являются стилистически нейтральными: *перст* - палец, *чело* - лоб, *уста* - рот.

В церковно-богословской речи используются церковнославянизмы фонетические: *святый*, *звезды*, *стенать*; акцентологические: *утешитель*, *избранные*; словообразовательные: *вопрошать*; *убояться*; семантические церковнославянизмы: *муж* в значении *мужчина*, *жена* - *женщина*, *живот* - *жизнь*, *страсть* - *страдание*. Некоторые славянские слова имеют отрицательное значение в церковнославянском языке: *прелест* - прельщение, обман; *очаровать* - околдовать, *обаяние* - колдовство.

В церковнославянских книгах и церковнославянской речи используются и такие церковнославянизмы, которые не встречаются в других стилях, за исключением языка художественной литературы, в основном в стихах на библейские мотивы: *василиск* (змея), *отроковица* (девочка), *вертоград* (сад), *куща* (палатка), *одр* (постель), *одигитрия* (путеводительница), *паки* (ещё, снова, опять).

Приподнятость, торжественность церковно-религиозного стиля создаётся использованием высоких слов церковного словаря, а не слов позднейшего русского происхождения: сп.: *отрок* - мальчик, *сей* - этот, *ибо* - потому что.

Приметой церковной речи являются греческие по происхождению слова, связанные с называнием предметов, образов и понятий церковного мира: *ангел*, *апостол*, *диавол*, *диакон*, *евангелие*, *епископ*, *ересь*, *игумен*, *идол*, *иерей*, *икона*, *ладан*, *митрополит*, *миро*, *монастырь*, *монах*, *панихида*, *патриарх*; реже - использование латинских слов - *миссия*, *миссионер*, *паломничество*, *паломник* (ср. с русскими словами *богомолье*, *богомолец*). Из грамматических церковнославянизмов характерно использование кратких форм причастия на *-ом* (*ведомы*), использование множественного числа прилагательных вместо формы среднего рода: *и прочая*.

Со времён Крещения Руси в X веке богослужение в православных храмах совершается на церковнославянском языке. Изначально этот язык предназначен для служения Богу, стал языком славянской письменности, а разговорный использовал-

ся только в быту. Книжное и разговорное объединялось в один язык, но области книжного и разговорного были разграничены. Книжный, высокий предназначен для служения Богу, а низкий, разговорный использовался в быту и в государственной жизни.

Время от времени высказывались и высказываются предложения перевести богослужебные тексты и церковные службы с церковнославянского языка на обыденный русский язык. Рассмотрим кратко точки зрения сторонников и противников такой реформы (подробнее см.: Богослужебный язык русской церкви. История. Попытки реформации, 1999).

1. Требования о переходе богослужения на общеупотребительные языки высказывались не только в России, но и в среде других православных народов. В России, в Греции, на Афоне верующие сохраняют древний богослужебный язык, в Болгарии и Сербии от него отказались и перешли на национальные языки. Высказывается и компромиссная идея - перевести богослужебные книги на новославянский "облегчённый" язык. Следует совершать богослужения на русском общепонятном языке, а в местах с инородческим населением - на языке преобладающим.

2. Церковнославянский язык является священным. Отличие богослужебного языка от языка светской культуры отражает особое положение Церкви в мире. Разговорный язык и созданный на его основе литературный язык меняются со временем, заимствуют слова из других языков, создают новые слова для новых понятий и могут изменять исходные значения древних слов. Церковнославянский язык - важнейшая нить, связующая восточнославянские народы. Русский язык не так хорошо, как церковнославянский, способен передать оттенки значений, существующих в греческих оригиналах. Церковнославянский язык образует высокий стиль русского литературного языка.

Точка зрения академика Д.С.Лихачёва представлена в статье "Русский язык в богослужении и в богословской мысли" (Лихачёв, 1999:279): "Церковнославянский язык - постоянный источник для понимания русского языка, сохранения его словарного запаса, обострённого постижения эмоционального звучания русского слова. Это язык благородной культуры: в нём нет грязных слов, на нём нельзя говорить в грубом тоне, браниться. Это язык, который предполагает определённый уровень нравственной культуры.... Отказ от употребления его в Церкви.... приведёт к дальнейшему падению культуры в России.

Русский язык “очищается, облагораживается в Церкви. Да, Евангелие должно проповедоваться на всех языках. В изданиях, где оно печатается параллельно на церковнославянском и русском языках, уточняется смысл отдельных выражений, разъясняется значение каждого слова. Русский язык никто не изгоняет из Церкви, но обращённые к Богу, Божией Матери, к Святым слова должны быть свободны от обыденности, не соприкасаемы с бранью и вульгарщиной”.

Утрата высокого стиля в наше время - это явление, которое с болью отмечают многие филологи. Конечно, это “грустное наследие” советского периода, когда активной была антирелигиозная пропаганда. “...Роль библейских текстов в культурном двуязычии смысл-стиль значительна. Они определяли верхний уровень смысловой структуры слова, задавали общий масштаб словарным определениям во всех классических словарях русского языка. Отсчёт всегда вёлся от высокого стиля, потому что стилистически отмеченный, выразительным был стиль низкий” (Колесов, 1998:222). Высокий стиль был материально обеспечен славянским переводом библейских текстов.

Слова церковно-религиозного стиля с эмоционально-стилистической краской возвышенное, торжественное являются своеобразным камнем преткновения для студентов на практических занятиях по стилистике. Приведу один пример. Студенты должны составить связный текст, используя слова с возвышенной, торжественной окраской. Студенты не только национальных, но и русской групп сначала уточняют значение целого ряда этих слов. С заданием составить связный текст справляются единицы. Большинство составляет предложения с этими словами, не всегда удачно включая их в контекст. Распространённая ошибка - включение слова с высокой, торжественной окраской в бытовой контекст. Многие студенты из национальных групп, чтобы выполнить задание, выписывают из толкового словаря примеры предложений или словосочетаний из словарной статьи к слову. С тем же самым заданием - включить в связный текст слова сниженные, то есть отрицательно-оценочные и фамильярные - все студенты легко справляются.

Церковнославянский язык звучит во время ритуальной службы, когда зачитываются канонические тексты Евангелия, молитвы, раздаются молитвенные песнопения: *Умягчи наша злая сердца Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей разреши: на Твой бо святый образ взирающе, Твоим*

состраданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнуть, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение (Тропарь Пресвятой Богородице, именуемой "Умягчение злых сердец". Семистрельная).

Церковно-религиозный стиль проявляется в православном храме при обращении священника к прихожанам с проповедью, при отпевании усопших, при венчании, при обращении с наставлением, посланием. Этот стиль функционирует преимущественно при обращении к массовой аудитории и воплощается в жанрах церковного послания (например, Пасхального и Рождественского), в проповеди, в напутственном слове, в поучении, в обращении, а также во время исповеди.

Церковно-религиозный стиль функционирует и за пределами православного храма: он звучит в речах священнослужителей во время их выступлений по радио, по телевидению, в светских учреждениях и в официальном общении священнослужителей друг с другом на темы религии и современной жизни. Например, на одном из каналов российского телевидения выходит программа "Православная энциклопедия", в которой ведущий программу священнослужитель беседует с деятелями православной церкви, а также отвечает на вопросы, задаваемые в ходе передачи по телефону зрителями. На первом Балтийском канале транслируют передачу "Слово пастыря". В Литве каждую вторую неделю воскресным утром на канале АТ выходит в эфир пятнадцатiminутная передача для православных на русском языке "Христианское слово". Речевая деятельность священнослужителей в вышеупомянутых передачах ведётся на современном русском литературном языке, в его особом функциональном стиле.

Рассмотрим языковые средства церковно-религиозного стиля. Специфику данного стиля в области лексики составляют слова с функционально-стилистической окраской религиозное и церковное.

В "Толковом словаре современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия" (Скляревская, 2001) слова, имеющие в настоящее время функционально-стилистическую окраску религиозное или церковное, отнесены к разряду лексики, вернувшейся с периферии общественного языкового сознания. В советский период эти слова сопровождались в словарях того периода либо пометой "устар.", либо сопровождались комментариями

“в старину”, “в дореволюционной России”. Термины религий, прежде всего православия, заполнили страницы газет, постоянно звучат по радио и телевидению, так как в России в постсоветский период произошло возрождение духовной жизни и новое обращение к вере. Стилистическая помета рел. - религиозное - стоит при словах, соотнесённых со сферой религий, верований - Библия, Благовещение, Ветхий Завет, буддизм, ислам, монастырь, собор - собрание представителей духовенства для решения церковных вопросов (избрания Патриарха, канонизации новых святых и др.). Стилистическая помета церк. - церковное - стоит при словах, обозначающих предметы культа, части православного храма и т.п. - Алтарь, амвон, аналой, Благовест, Вербное воскресенье, иконостас, икон, митра, панагия, придел, собор - большой храм, имеющий несколько приделов.

Церковно-религиозная лексика тематически делится на номинации Бога: Бог, Господь Бог, Иисус Христос, Спаситель, Господь Вседержитель; географические названия, связанные с библейскими сюжетами, с церковной жизнью: Вифлеем, Свято-Духов монастырь, Святая Земля; епархия; Вильнюсский благочиннический округ, приход, епархия; богословская терминология, названия лиц духовного звания, имена апостолов, святых, церковных деятелей, церковных праздников: митрополит, патриарх, диакон, миряне, Святой, Пасха, Рождество Христово, царственные страстотерпцы, местоблюститель, архиерей, Чудотворный Образ Пресвятой Богородицы Виленской Одигитрии, Остробрамская икона Божией Матери...

Специфику церковно-религиозного стиля составляет использование архаизмов - сей, ныне, чада, в том числе и семантических - список (копия иконы), честнейший праздник (чтимый всеми).

В церковно-религиозном стиле используется лексика с функционально-стилистической окраской публицистическое: представители разных стран и народов, разрешение всех споров и разногласий, трудности в экономической и социальной области (примеры из Рождественского послания Патриарха Алексия II на 2008-2009/“Встреча”, №1, 2009).

Основной лексический пласт церковно-религиозного стиля - это слова стилистически окрашенные. По функционально-стилистической окраске это общекнижная лексика: возрождение, наследие, бытие, составляющая специфику данного стиля религиозная и церковная лексика, а также слова с окраской публицистическое. С большими ограничениями лингвисты

признают использование в устной форме некоторых слов и форм с разговорной окраской. Это, например, обращение верующих к православному священнику и его жене "батюшка, матушка". Использование слов с функциональной окраской религиозное и церковное в непринуждённой речи в той или иной социальной или профессиональной среде маркируется сочетанием соответствующей пометы с пометой разг. - разговорное - иконка, масленица, христосоваться, служба (рел.разг.) в значении богослужение; просвирка, просфорка (церк.разг.) - просфора - богослужебный литургический хлеб в виде небольших булочек, употребляемый в таинстве евхаристии.

Стилеобразующие черты церковно-религиозного стиля - это эмоциональность и экспрессивность, создаваемые в речи использованием экспрессивно окрашенных языковых средств всех уровней языка, в том числе слов и выражений, принадлежащих высокому стилю, архаичных и благодаря этому возвыщенно-торжественных: *богодухновенный, благодатная, благословен, благодать, благодарение, благодеяние, дарованный, яко, чрево, ибо, дабы, уповать, чаяния*.

Естественной составляющей церковно-религиозных текстов являются библейские фразеологизмы: *агнец божий, в погоне лица, жена Лота, идти на крест, манна небесная, земная юдоль*, а также библейские крылатые фразы - *Любите врагов ваших; Люби ближнего как самого себя*.

Используются устаревшие морфологические формы слов: *Богородице, Дево, Марие, отче, сыне, пред, диакон, человеков и формы, свидетельствующие о прямом обращении говорящего к слушающим: местоимения второго лица ты*. В письменном тексте Ты с прописной буквы при обращении к Богу, к Богородице: *Господь с Тобою*. Используются формы повелительного наклонения глагола - *радуйся, да будет, да приидет* и краткие формы прилагательных и причастий: *блажен, ведом*. Торжественность и архаичность придаётся использованием особых форм имени: *Алексий, Сергий, Иоанн, Феодор*.

В синтаксисе характерными чертами является использование родительного присубстантивного; постпозиция согласованного определения (*плод чрева твоего, любовь Божия, воинство небесное*), использование устаревшего управления (*вдруг предстал им Ангел Господень*), нанизывание однотипных конструкций, что усиливает воздействие высказывания. Приводятся прямые цитаты из Библии: *В чём наше предназначение? Какими нас хочет видеть Бог? Для*

чего он - Всемогущий, Всеведущий, Всеблагой - воплотился от Девы и родился на земле в эту холодную ночь? На эти вопросы нам отвечает Церковь Христова, которую Он основал и которую "врата ада не одолеют" (Мф. 16,18) вовек (примеры из Рождественского обращения Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Кирилла, АИФ, 2009, №1-2)

Объём статьи не позволяет рассмотреть используемые в текстах церковно-религиозного стиля тропы и фигуры речи, такие, например, как аллюзия -цитаты из текста Библии или ссылки на неё, анафора, параллелизм, способствующие созданию атмосферы духовной приподнятости. Ограничимся замечанием, что насыщенность текста фигурами речи зависит от жанра.

Приметой церковно-религиозной речи являются особые речевые этикетные формы - на Пасху: *Христос воскресе!* - Всистину *воскресе!*; *Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь*; особые формы обращения - *"Ваше Святейшество"* - к Патриарху, *"Ваше Высокопреосвященство"* - к митрополиту.

II. Использование архаичных языковых элементов наблюдается во всех речевых жанрах церковно-религиозного стиля, таких как притча, исповедь, проповедь, поучение, слово, но особо эти элементы сконцентрированы в песнопениях и молитве: *Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.*

Наиболее яркий жанр церковно-религиозного стиля - это проповедь. Основное назначение проповеди - нести слово Божие в мир, поэтому и язык проповеди должен быть общедоступным. Это чистый современный русский литературный язык высокого стиля, несмотря на импровизационный характер речи; использование высоких риторических средств. Но в проповеди немало библейских цитат, церковнославянский язык может быть включён в текст проповеди в чистом виде как язык культа, а затем перекладываться на русский с элементами толкования. Современный русский литературный язык является основой также для жанра слова и послания, однако органично включаются в текст и элементы архаики: *"Обращаясь с этими словами ко всем православным народам и всему миру, мы паки и паки желаем, чтобы мир, справедливость и любовь Божия восторжествовали в конечном итоге в жизни людей. А тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно большие всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе"* (Еф.3.2220-21). Аминь".

(Послание предстоятелей Православных Церквей) ("Встреча", № 10(43) октябрь 2008:3).

Все используемые в письменных текстах церковно-религиозного стиля языковые элементы направлены на передачу высокого стиля, устные жанры могут быть связаны со средним стилем.

Церковно-религиозный стиль современного русского литературного языка к настоящему времени изучен недостаточно, что проявляется не только в неоднозначности названий - церковно-религиозный, религиозно-проповеднический; но и в выделении разного количества подстилей (подстиль переводов книг Библии, проповеднический подстиль, агиографический подстиль, подстиль церковных посланий) и неполноте изученности жанров светскими исследователями. Пока жанры церковно-религиозного стиля не будут описаны исследователями, невозможным будет и однозначное разграничение подстилей, которые выделяются на основе особенностей речи определённых жанров.

В постсоветский период усилилась миссионерская деятельность представителей православия в среде разных социальных групп населения, и не только среди православных. Можно говорить о складывающемся в настоящее время церковно-популярном подstile религиозно-церковного стиля, со своими тематическими, жанровыми, стилистическими и языковыми особенностями.

Примером может служить деятельность одного из православных миссионеров - диакона Андрея Кураева, профессора Московских духовных академии и семинарии, профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидата философских наук и кандидата богословия, самого читаемого церковного публициста, живущего, по его собственным словам, на границе церкви и мира: "Мне порой удается достучаться до тех душ, до которых не доходят проповеди, выдержаные в традициях храмовой гомилетики. ... Форма моих проповедей непривычна... Больше свободы в выборе тех или иных образов, аргументов, в стиле поведения". (Кураев, 2008:443).... "Я привожу людей не к себе, а в обычные храмы. И вполне сознательно я допускаю "неканонические" выражения - чтобы неофиты, склонные отождествлять Православие с первым встретившимся и полюбившимся им проповедником, не воспринимали меня слишком всерьёз и, пройдя через меня, мимо меня и дальше меня, вошли-таки в Церковь" (Кураев, 2008:445). Эти цитаты из книги А. Кураева "Почему православные такие?.." По словам автора этой книги, многоточие заменило в названии нелитера-

турное, сниженное слово *упёртые*(то есть упрямые), оставить которое в названии не разрешил совет Издательства Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Специфика языка религиозно-церковного стиля заключается в том, что почти не используется функционально сниженная - разговорная лексика. Но в популярных проповедях-лекциях диакона Кураева разговорных и просторечных слов и оборотов довольно много. Приведу некоторые примеры из лекции о Православии в России, прочитанной 24 февраля 2008 года в Вильнюсе, в переполненном слушателями конференц-зале одной из гостиниц: *Я накушался идеологии в советские годы, и меня от этого тошнит; вляпался; Церковь изменилась, обрюзгла, как ребёнок, зачатый 70 лет назад; римские жрецы спёрли эти дары; жутко интересная вещь эта книга! Если мы не сделаем выводов из 20 века, Господь скажет: "Ну и хрен с вами, становитесь швейцарцами".* Сам диакон А.Кураев объясняет использование подобных выражений устной формой своих лекций, тем, что происходит он не из семьи священнослужителей, и тем, что он церковный публицист. Сравните со стилистикой лекции отца Александра Меня "Христианство", которая была прочитана в 1990 году в московском Доме технике на Волхонке, затем текст был опубликован (Мень, 1994).

В церковно-религиозном стиле по специфике использования 1) архаичных церковнославянских и 2) языковых средств современного русского литературного языка с функционально-стилистической окраской книжное, религиозное, церковное и публицистическое, а также возможностям включения 3) возвышенных, торжественных и 4) сниженных слов и оборотов отличаются подстили: богослужебной (1,3) и житийной (1,3, 2, кроме слов с окраской публицистическое) литературы, проповеднический (2,1,3), церковно-популярный (2,1,3,4).

III. Рассмотрим особенности языкового функционирования в церковно-религиозной сфере в Литве. Литва - издавна католическая страна, хотя основой христианства здесь было православие. Русь приняла православие в 988 году. Расселяясь по разным местам, русские люди несли с собой православную веру. Принесли они её и в Литву, в частности, через высокородные браки. Большинство жён литовских князей были русскими княжнами, которые в вопросах религии отдавали предпочтение православию. История церквей и трудных путей православия в Литве рассмотрены в историко-литературном исследовании Григория Валерьевича Озерова (Озеров, 1996), выход которого в свет при-

ветствовал Предводитель Российского Дворянства князь Андрей Кириллович Голицын, род которого происходит от Гядиминовичей и давно связан с Литвой. В книге Озерова рассказывается об истории православия в Тракай (Троках), где когда-то было три православных монастыря и семь православных церквей; прослеживается история десяти и ныне действующих в Вильнюсе православных храмов и приведён список 17 несуществующих в настоящее время православных храмов Вильнюса.

В Литве находятся два православных монастыря - мужской Свято-Духовский и женский св. равноапостольной Марии Магдалины. В путеводителе по Вильнюсу и Тракай (Вильнюс и Тракай. Путеводитель, 2006) отмечено, что церковь Святого Духа интересна как образец вильнюсского барокко - единственный православный храм этого стиля в Литве. В реликварии находятся мощи трёх православных Святых - Иоанна, Евстафия и Антония, замученных во времена великого князя Литовского Ольгерда. Монастырь Святого Духа воспитал много известных православных интеллигентов, Мелетия Смотрицкого, подготовившего издание "Славянской грамматики" (1619), митрополита Петра Могилу, выпустившего православный "Молитвослов" (Киев, 1646).

В наши дни при Свято-Духовом монастыре с 1995 года действует Православное Братство Литвы. Ежемесячная газета Православного Братства Литвы "Встреча" включает как собственно публицистические материалы (статьи на актуальные для православных темы, новости и хроника православной жизни в Литве, Детская страница, Приложение - Страница православного педагога, Объявления), так и тексты жанров церковно-религиозного стиля, таких как тропарь - церковное песнопение в честь какого-либо праздника или святого; кондак - краткое песнопение, излагающее смысл праздника или содержащее похвалу святому; величание, молитва, слово, послание).

Рассмотрим сначала языковые особенности собственно публицистических материалов православной газеты "Встреча", издаваемой в Литве. В каждом номере есть рубрика "События", посвящённые актуалиям как региональным, так и общего характера. Региональные события кратко изложены в колонке официальной хроники, где присутствует богословская терминология (напр.: хиротония), в том числе названия лиц духовного звания (митрополит Виленский и Литовский Хризостом; протодиакон, пресвитер, настоятель, второй священник, игумен), имена святых (святые Виленские мученики Антоний, Иоанн, Евстафий), церков-

ных деятелей (Хризостом), названия церковных праздников (праздник Успения Пресвятой Богородицы), географические названия, связанные с церковной жизнью (храм святых Виленских мучеников Антона, Иоанна и Евстафия г. Таураге), наименования церковно-религиозных учреждений (Свято-Духов собор г. Вильнюса, Успенский кафедральный собор г. Вильнюса). Языковая особенность публицистических материалов в православной газете - это отсутствие сниженных языковых средств - просторечных, вульгарных.

Для православных литовцев в некоторых номерах газеты "Встреча" в рубрике "Apie tikėjimą" напечатана статья на литовском языке: "Šventos Paraskėvos cerkvė", в которой рассказывается об истории этого храма.

Церковнославянский язык присутствует на страницах газеты. На первой странице каждого номера напечатан эпиграф - "Аз есмь с вами до скончания века" – цитата из Евангелия от Матфея. В номере газеты, посвящённом празднику Воздвижения Господня, на первой странице приведён Тропарь праздника Воздвижения, Кондак праздника и Величание: *Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтём Крест твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия.*

В двух из рассматриваемых в данной статье номеров газеты "Встреча" (№9, сентябрь 2008 года и №10, октябрь 2008 года) две страницы из 20 - на литовском языке. Рубрика называется "Apie tikėjimą" (О вере) и содержит продолжение "Комментария исповедования символа веры" ("Tikėjimo išpažinimo komentaras").

Электронный вариант газеты можно найти в интернете по адресу www.orthodoxy.lt и www.pbl.lt (адрес Православного Братства Литвы в Интернете). Здесь приводятся не только церковно-публицистические материалы (например, история иконы, о православных святынях в Литве, о жизни и деятельности священнослужителей), но и тексты церковно-религиозного стиля - проповедей, например: "Память святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия" - проповедь, произнесённая митрополитом Хризостомом после Божественной Литургии 27 апреля 2007 года в Свято-Духовом соборе Вильнюса, отрывок из которой привожу:

"Сегодня, возлюбленные братья и сестры, мы чтим память святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Они явили мужество, засвидетельствовали свою веру в Живоначальную Троицу, в распятого и воскресшего Христа, идя на муки и на смерть. Они лишились земной чести и достоинства мирского звания. Но они стали добрыми воинами Христовыми. Их подвиг стал примером истинной

жизни во Христе для многих и многих, живших и живущих в нашем крае. С первых времён после мученической кончины святых Антония, Иоанна и Евстафия верующие с благоговением почитали их подвиги и мученичество за Христа.

Праздная Светлое Христово Воскресение, мы постоянно слышим победные гимны Воскресшему Христу. Но мы не должны забывать о Голгофе и о страданиях Христа Спасителя, о страданиях сонма мучеников и исповедников. Об этом нам очевиднейшим образом напоминают здесь, в этом святом храме, мощи святых Виленских мучеников".

В Литве для православных прихожан -литовцев церковная служба проводится на литовском языке. Объявление на литовском языке в православной церкви Святой Параскевы Пятницы на улице Диджёйи, 2 гласит, что службы на литовском языке проходят в этом храме по воскресеньям в десять часов. Первая православная Литургия на литовском языке состоялась здесь в феврале 2005 года. Священник Виталий Караковас перевёл Литургию святителя Иоанна Златоуста на литовский язык.

Выходит для православных литовцев и предлагаемая бесплатно газета на литовском языке "Sekmadienio laikraštis", в которой рассказывается об актуальных событиях, происходящих в православном мире. Так, в номере газеты за 25 января 2009 года изложена программа Собора иерархов русской Православной церкви с 24 по 31 января, посвящённого важному для каждого православного христианина событию - выборам Патриарха. Конечно, при переводе на литовский язык может утрачиваться архаичность, высота и торжественность, присущие русскому тексту. Сравните: Архиерейский Собор и Vyskupų susirinkimas; Местоблюститель Патриаршего Престола и Sosto Saugotojas (примеры на литовском языке из газеты "Sekmadienio laikraštis"). В рассматриваемом номере газеты упоминается также о событии, важном для всего христианского мира - Всемирной неделе молений за христианское единство - и приводится в переводе на литовский язык текст "О христианском единстве", написанный в 1950 году митрополитом Антонием из Сурожа - русским, православным теологом, всю жизнь жившем в эмиграции во Франции. Важность и актуальность в наши дни приведённого текста несомненна, так как он отражает мнение высших иерархов Православной Церкви о христианском единстве в современном мире, не всегда разделяемое в прицерковной среде. Сравните с примерами, приведёнными в статье А. В. Тарабукиной" Фольклор и мифология

прихрамовой среды" о жизни и мировосприятии в Дивеевском монастыре, находящемся в Нижегородской области России: "Мы встречались с резким осуждением речи Патриарха, произнесённой в Иерусалиме в 1994 г., в которой он говорил о преемственности иудаизма и христианства и о связи православной и других христианских церквей" (Современный городской фольклор, 2003:314) и "О католиках и сектантах в прихрамовой среде рассказывают в крайне негативных тонах ... Чувство собственной избранности в церковной среде столь сильно, что резкое неприятие вызывают не только любые положительные высказывания о других верах, сделанные православными священниками, но и соответствующие высступления Патриарха" (Там же, 311).

Последняя, восьмая страница газеты называется "Ortodoxų Važnūčios pasaulyje" и рассказывает о специфике православной веры, местах распространения в 200-миллионном православном мире православных епархий и титулах их глав, о годе разделения христианского вероисповедания на католическое и православное.

Выводы

Церковно-религиозный стиль современного русского литературного языка так же, как и научный стиль, служит посвящённым. Язык церковно-религиозного стиля органично включает элементы архаичные - это церковнославянизмы, устаревшие слова и формы - в большем объёме, чем другие функциональные стили современного русского литературного языка, например, официально-деловой. Задача осовременивания церковно-религиозной речи является актуальной и решается по-разному в зависимости от культурного уровня и национальности аудитории, а также зависит от индивидуальных особенностей речевого стиля проповедника. Влияние культового церковнославянского языка в речах и текстах сказывается во включении традиционной духовной лексики и фразеологии, цитат-библеизмов, с помощью которых оформляются тексты церковно-религиозного стиля.

Подстиль богослужебной литературы больше других насыщен элементами архаики (жанры молитвы, церковных песнопений). Проповеднический подстиль содержит как элементы архаики в форме цитат из Библии, устаревших лексических и фразеологических средств, морфологических и синтаксических форм, так и средства современного русского литературного языка (в жанрах храмовой проповеди, послания, слова). Церковно-популярный

подстиль близок к публицистическому стилю по возможности использования нехарактерных для других подстийей церковно-религиозного стиля сниженных языковых средств - разговорных и даже просторечных. Жанры церковно-популярного подстиля - нехрамовая проповедь, лекция, беседа. Языковая специфика жанров церковно-популярного подстиля заключается в использовании некоторыми проповедниками сниженных лексических и фразеологических языковых средств, что объясняется приспособляемостью православного миссионера к уровню аудитории, не всегда состоящей из людей православных или стремящихся к воцерквиению, но и враждебно настроенных.

Особенность функционирования церковно-религиозного стиля в Литве заключается в том, что богослужебная деятельность (литургия) происходит не только на церковнославянском и русском, но и на литовском языке - для православных литовцев. Для них же в ежемесячной газете Православного Братства Литвы "Встреча" несколько страниц выходит на литовском языке; выходит газета на литовском языке, где, кроме собственно публицистических материалов, помещены переводы богословской литературы на литовский язык.

ЛИТЕРАТУРА

- Богослужебный язык русской церкви. История. Попытки реформации, 1999. Москва: Издание Сретенского монастыря.
- Верещагин Е. М., 2001, Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания. Москва: Индрик.
- Вильнюс и Тракай. Путеводитель, 2006. Вильнюс.
- Встреча. Ежемесячная газета Православного Братства Литвы, 2008, №9(42) сентябрь; №10 (43) октябрь; 2009, № 1(46) январь; №2(47) февраль. Вильнюс.
- Колесов В. В., 1998, Русская речь. Вчера, сегодня, завтра. Санкт-Петербург.
- Кураев А., 2008, Почему православные такие?.. Москва: Изд-во Моск. Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
- Кураев А., 2008, Что такое церковь. Лекция диакона Андрея Кураева. Москва.
- Мень А., 1994, Быть христанином. Москва.
- Лихачёв Д. С., 1999, Русский язык в богослужении и в богословской мысли // Богослужебный язык русской церкви. История. Попытки реформации. Москва: Издание Сретенского монастыря.

- Озеров Г. В., 1996, *Православная вера - славная...* (История церквей и православия в Литве). Вильнюс.
- Православный молитвослов*, 2007. Москва: Ковчег.
- Тарабукина А. В., 2003, *Фольклор и мифология прихрамовой среды// Современный городской фольклор*. Москва: Российск.гос.гуманит. ун-т.
- Толковый словарь современного русского литературного языка. Языковые изменения конца XX столетия. Под ред. Г. Н. Скляревской, 2001. Москва: ООО Изд-во Астриль, ООО Изд-во Аст.
- Sekmadienio laikraštis*, 2009 m. sausio 25 d. Stačiatikių šv. Paraskevos cerkvė. Vilnius.

The Orthodox Religious Style of Modern Russian Literary Language and its Functioning in Lithuania Summary

The article deals with the description of Russian orthodox religious language style specifics and its stylistic analysis, also it searches for peculiarities of lexical units, idioms, some forms functioning in the orthodoxal texts.

Key words: *the orthodox religious style of modern Russian literary language; Old Church Slavonic words, stylistic analysis, orthodoxal church in Lithuania.*